

Н. ОСИПОВ

КЛЕВЕТА ДРУЗЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦОПЭ»

Н. ОСИПОВ

Клевета друзей

Издание Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

Мюнхен

1958

Printed in West Germany.

Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstr. 3 b. Tel. 29 51 36.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемая вниманию читателя книга Н. Осипова «Клевета друзей» представляет собою критический разбор книги русского философа Н. Бердяева; критику его мыслей об индивидуальности, характере, судьбе и существеннейших элементах истории русского народа.

Николай Александрович Бердяев (1874—1948) родился в дворянской военной семье, учился в военной школе, затем в университете.

Первая полоса его сознательной жизни повторила типичную историю русского интеллигента того времени. Он оказался членом социал-демократической партии (хотя ортодоксальным марксистом не был никогда). Университета не окончил и очутился в ссылке в Вологде.

Очень рано Бердяев подверг марксизм критическому пересмотру, хотя к Марксу сохранил уважение навсегда, и социализм всегда оставался его социально-политической верой. Иногда он склонен был называть себя христианским социалистом.

От философского идеализма Бердяев перешел к христианской вере. Церковным человеком он не был; его христианство есть христианство «новорелигиозного сознания».

Книги, написанные Бердяевым, из которых каждая является этапом его философского развития — это:

«Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» — 1901.

«Новое религиозное сознание и общественность» — 1907.

«Духовный кризис интеллигенции» — 1910.

«Философия свободы» — 1911.

«Смысл творчества» — 1916.

После захвата власти большевиками Бердяев принимал участие в организации замечательного учреждения — «Вольной Религиозно-философской Академии», разгромленной впоследствии большевиками. Тогда же он написал книгу «Философия неравенства», сильнейшим образом заостренную против большевизма. От этой книги впоследствии он отошел очень далеко.

В 1922 году Бердяев был выслан из России. За границей он осел сначала в Берлине, потом в Париже, где редактировал философско-религиозный журнал «Путь» и руководил издатель-

ством «ИМКА-пресс». За границей написан им ряд книг: «Новое средневековье», «Философия свободного духа», «Я и мир объектов», «О назначении человека», «Русская идея», «Опыт эсхатологической метафизики», «Самосознание» (перечень не полон). Кроме того, Бердяевым написано множество статей.

Бердяев — писатель вдохновений. В основе всех его высказываний лежит переживание, глубоко личное, искреннее и страстное. Он называет себя философом свободы, и это верно в том смысле, что тема свободы была всегда особенно близкой Бердяеву. Его напряженный эсхатологизм, его нравственный пафос, глубокий историсофический интерес, его воинствующий персонализм — образует сложную, подчас противоречивую ткань его философских построений.

На Западе Бердяев очень популярен и признается выразителем русского духа. Как раз то, что думает Бердяев о русском народе, его судьбах, большевистской революции — **особенно спорно**. Но искренность и независимость взглядов Бердяева не могут подлежать сомнению. С ним следует не соглашаться во многом, но всегда поучительно вдуматься в его мысли.

Бердяев скончался в Париже, полный новых замыслов, весь в страстном творческом кипении. В историю русской мысли он вписал немало ярких страниц.

Н. ОСИПОВ

Клевета друзей

*Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно...*

А. К. Толстой

*Тут все есть, коли нет обмана:
И черти, и любовь, и страсти, и цветы.*

А. С. Грибоедов

Друзей клевета ядовитая...

М. Ю. Лермонтов

*Именем императора Петра Первого
объявляю ревизию сему сумасшедшему
дому!*

В. М. Гаршин

КЛЕВЕТА ДРУЗЕЙ

«Русская идея» одна из самых популярных книг Бердяева на Западе. В этой книге и в другой — «Истоки и смысл русского коммунизма», во многом повторяющей первую, Бердяев стремится раскрыть тайну индивидуальности русского народа. Задача эта совсем не удалась Бердяеву, несмотря на присущую ему остроту мысли. Тем не менее, это не помешало Бердяеву высказать ряд верных и тонких замечаний о русской истории, судьбе России и характере русского народа.

Выводы Бердяева не следуют из посылок. Основные интуиции у Бердяева ложны. Из его рассуждений ничуть не следует ни «детерминированности коммунизма русской историей», ни предопределения русского народа к тоталитаризму и построению социализма в одной стране.

Книга Бердяева переобременена совершенно произвольными утверждениями. Однако, именно эти утверждения способствовали успеху Бердяева у западного читателя. Они, как нельзя больше, соответствуют застарелым предрассудкам людей Запада, их иррациональной неприязни к России и тайному страху перед ней. Для многих врагов русского народа «Русская идея» стала настольной книгой.

У Бердяева на Западе множество последователей и вулгаризаторов, не Бердяеву принадлежит изречение: «Православие — переодетое богумильство, а большевизм — переодетое православие». Но оно без всякой натяжки может быть связано с бердяевскими формулами.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ «РУССКОЙ ИДЕИ»

Следующие положения легли в основу «Русской идеи» (я формулирую их по возможности словами самого автора):

1. Детерминированность коммунизма русской историей.
2. Поляризованность русской души; русский народ есть совмещение противоположностей.
3. У русского народа сильно выражено мессианское сознание.
4. Мессианизм в русском сознании переходит каким-то образом в империализм. Доказательством наличия этих мессианско-империалистических настроений является знаменитое послание инок Филофея с его формулой — «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать».
5. Русский народ обладает склонностью к разгулу и анархии при потере дисциплины. «Русские люди склонны к оргиям и хороводам. Тоже мы видим в народных мистических сектах, например в хлыстовстве».
6. Русский народ влечется к безмерности, бескрайности, бездне. Русская революция это доказывает. На Руси сильна Дионисова стихия. «Дионис прошел по русской земле», — как выразился один поляк о русской революции.
7. Русский народ соединяет в себе безграничную покорность перед властью со способностью к необузданности и бунту.
8. Русское мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и мирозерцаниям.
9. Беспочвенность — глубоко национальная черта русских.
10. Россия никогда не станет буржуазным царством; русский дух глубоко враждебен мецанству.
11. «Россия — это апокалиптический бунт против античности»; эту характеристику Шпенглера Бердяев считает «очень острой и верной».

ПОЛЯРИЗОВАННОСТЬ

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить» ... Тютчев прав: не понять и не измерить, как и всякий другой народ. Никакой народ не поддается чисто рациональному постижению. Но поляризованность — это общий аршин: все

народы поляризованы, и русский не в большей степени, чем остальные. Тезис о крайней поляризованности русского народа, о совмещении в его душе несовместимых противоположностей, Бердяев провозглашает, но никак не доказывает.

У самого Бердяева можно найти строки, в которых он как будто не склонен признавать за русскими монополию на поляризованность души. Так, в одной из своих книг он говорит о человеке, о человеке вообще, а не специально о русском: «Он есть раздвоенное, противоречивое и в высшей степени поляризованное существо, богоподобное и звероподобное, высокое и низкое, свободное и рабское, способное к подъему и падению, способное к величайшей любви и жертве, и способное к крайней жестокости и безграничному эгоизму». (Von des Menschen Knechtschaft und Freiheit; стр. 27, Halle Verlag).

С характеристикой Бердяева можно соглашаться и не соглашаться, его определение поляризованности можно принять или отвергнуть, не вынося никакого приговора русскому народу и не исключая его из состава человеческого рода. Но в «Русской идее» Бердяев высказывается гораздо определеннее. Тут русский народ оказывается совсем особенным, predeterminedным то ли к вечному спасению, то ли к вечной гибели. Между русскими и другими народами разверзается пропасть.

«Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, — пишет Бердяев, — он есть совмещение противоположностей. Им можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушить к себе сильную любовь и сильную ненависть». («Р. И.» стр. 6).

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

Тема любви и ненависти к русскому народу — это тема западной души. Приливы и отливы любви и ненависти к России — увы! фантастической, а не реальной, — действительно можно наблюдать на Западе. Источник любви следует искать в нежности широких общественных кругов Запада к коммунизму, который без всякого основания отождествляется с духом русского народа.

Маятник любви и ненависти качается в соответствии со строгим законом. Пока человек Запада имеет о коммунизме только теоретическое представление, он с верой и надеждой произносит формулу: «Коммунизм прекрасен; ах! как прекрасен русский народ!» Практическое знакомство с коммунизмом ведёт к молниеносному изменению формулы: «Коммунизм отвратителен; ах! как отвратителен русский народ!» От глупой любви до глупой ненависти один шаг.

Любовь глупа, потому что в основе ее лежит нелепое допущение о тождестве коммунистической доктрины и духа русского народа. От этой ложной и вредной догмы сознание западного человека освобождается с величайшим трудом. Вот, например, у французского писателя Жака Роллана в связи с венгерскими событиями отверзлись «вещие зеницы». Он воспитывался на «Кратком курсе истории ВКП(б)» и почитал эту глупую и подлую книженку за гениальное творение. Теперь он решил подвергнуть гениальное творение ревизии и в соответствии с речью Хрущева на 20-м съезде очистить ее от фальсификаций. Над вопросом о том, что останется от сталинского творения за вычетом фальсификации, интеллектюель не задумывается.

Добрая часть французской интеллигенции идет с энтузиазмом на выучку к коммунизму и некритически приемлет ленинско-сталинскую мифологию. Цвет французского ума и образованности воспитывается отбросами русского общества. Не о таком влиянии России на Европу мечтали мы когда-то . . .

Русский народ не повинен ни в нежностях, ни в проклятиях, расточаемых ему на Западе. В России в «Краткий курс» не верят и никогда не верили. Коммунизм мертв в России и жив на Западе. Тянется же Россия к правовому порядку. Разумеется, в практике советских органов этой тяги обнаружить невозможно. Но она таится в сердцах русских людей, в концлагерях, в колхозах, в подпольи внутренней эмиграции.

ДИОНИС И АСКЕЗА

«Два противоположных начала легли в основу русской души» — делает смелое обобщение Бердяев: природная языческо-дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие («Р. И.», стр. 6).

Само по себе это утверждение не может быть оспариваемо. Перун действительно был оплакан добрыми киевлянами и, может быть, трудно уловимый след этих слез сохранился до наших дней в русской душе. Но разве на Западе было иначе? Ведь и на Западе было язычество, при чем язычество Эдды было гораздо более развитым, чем примитивное русское язычество. Правда, можно утверждать, что западное язычество именно вследствие его зрелости было изжито полнее, чем на Руси. Но практика Карла Великого, который крестил саксов огнем и мечем, ни в особенности сопротивление этих саксов не свидетельствуют о легкости, с которой народ отрекался от веры отцов. У нас тоже «Добрыня крестил мечем, а Путятя огнем», но какими диллетантами кажутся эти Путятя и Добрыня по сравнению с воинами Карла.

Что касается досознательности с какой народы обращались к христианству, то у нас это обращение было сознательнее и углубленнее, чем на Западе. Это объясняется, помимо свойств русского духа, на который я предпочитаю не ссылаться, просто нашим географическим положением. Запад имел перед собой только римское христианство, у него не было выбора. А нам предстоял выбор между мусульманством, иудейством, Византией и Римом. Нельзя забывать о наших связях с Царьградом и блистательным Востоком Аббасидов. Летописный рассказ об избрании вер с пленительной наивностью повествует о неоспоримом факте. В святой Софии состоялся окончательный выбор.

Принятие христианства — первый западнический акт России. Предки наши выбрали Византию, а не Мекку и не Итиль.

Тут разница между нашим крещением и западным, а дальше сходство полнейшее. И на Западе аскетическое и монашеское христианство легло новым пластом на первоначальный дионисизм.

ХОРОВОДЫ И ОРГИИ

Русский народ любит водить хороводы; почему Бердяев сопоставляет их с оргиями — непонятно. Может быть, потому, что в седой древности «на игрищах межю селы» случались вещи не назидательные: да у какого же народа они не случались? Бердяев указывает еще на хлыстовские радения. Однако, о хлыстовстве Достоевский очень верно сказал, что это секта древнейшая и всемирная, т. е. что оно свойственно всем векам и народам. Зачем же выделять русский? В англо-саксонском мире всевозможных трясушек и прыгунов было побольше, чем у нас, а вот ведь никто не считает англосаксов за народ, стремящийся к безднам.

Истерию в России, несмотря на тяжесть бытовых условий, было меньше, чем на Западе. Ни плясок смерти, ни флагаелланства, ни детских крестовых походов, ни совокуплений монахинь с чертями, ни массового сожжения ведьм Россия не знала. Кликушество наших баб очень невинно по сравнению с ужасными формами истерии на Западе.

ТРЕТИЙ РИМ И ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Особенно решительно Бердяев настаивает на том, что русский народ — мессианист, причем с русским мессианизмом неразрывно связан, как искажение русской идеи, русский империализм. Мессианизм в русском сознании будто бы легко подменяется империализмом. Русский народ создал огромную империю, и вот «империалистический соблазн входит в мессианское сознание» («Р. И.», стр. 12). В доказательство существования этого соблазна Бердяев ссылается, между прочим, на тот факт, что Иван Грозный выводил свою родословную от Августа Кесаря. И хотя эта родословная не пережила Грозного, она кажется Бердяеву знаменательным фактом русского национального сознания.

Фантастические родословные процветали и на Западе, но там они, вероятно, были признаком антиимпериалистических настроений. Но не проще ли объяснить генеалогические изыскания Грозного смутным чувством связи со вселенской традицией? Прислониться к этой традиции, а не навязывать миру свою, такова, кажется, была тенденция Грозного.

Но излюбленным доказательством виновности русского народа в империализме для всех обличителей является послание инок Филофея великому князю Василию Ивановичу. В послании содержится знаменитая формула: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Этой формуле не посчастливилось: она подверглась множеству произвольных толкований и до наших дней не дождалась понимания. Произвол, с которым обращается с нею Бердяев, поразителен.

«Третий Рим представлялся, как проявление царского могущества, мощи государства, сложился как Московское царство, потом как Империя, и, наконец, как третий Интернационал» («Р. И.», стр. 12-13).

Остается только руками развести, читая подобные утверждения. Что Сталин — переодетый Филофей, — это звучит парадоксально и, вероятно, импонирует коммунизирующим снобам, но это не мешает формуле оставаться совершенно несостоятельной.

В пафосе Филофея нет ни намек на мессианизм. Филофей — реалист, и ему не до жиру, а быть бы живу. Пафос, которым проникнуто его творение, есть пафос национального обособления, национальной исключительности. Филофей хочет воздвигнуть вокруг Руси невидимую китайскую стену. Еще никто никогда не видел в китайской стене символа империализма. Обособление есть оружие слабых. Москва была в то время очень слаба, поэтому она и ухватилась за оружие Филофея. Она стремилась к изоляции; она чувствовала себя отгороженной от Востока басурманством, от Запада — латинством, от Византии — Флорентийской унией. Москва дрожала от страха перед западными соблазнами.

Два мотива проникают послание Филофея: мотив страха и мотив блюденья сокровища, которое нужно уберечь от враждебного внешнего мира. Психология Филофея и его фразеология перешли к старообрядцам, людям, которые остро чувствовали свою слабость и спасения искали в обособлении. Уже Аввакум как бы пишет заключение к Филофею. Аввакум пережил торжество никонианства, как крушение Третьего Рима; для него русский народ — последний остаток благочестия, новый Израиль.

Православие Филофея — бегствующее, а не торжествующее православие. И когда старообрядцы XIX века заявляли, что у них где-нибудь на Иргизе «солнце православия проси-

яло паче, чем во всей вселенной», то они только повторяли Филофея. О просиянии солнца и шла речь у Филофея, и вовсе не о политическом могуществе.

Мысль Филофея в сущности глубоко провинциальна. И нет у него никакого мессианизма, который несовместим с провинциализмом. О бережении сокровища думает Филофей, а не о вручении его внешнему миру, который представляется Филофеем до конца погибшим. Если уже искать исторических аналогий духовному состоянию России, то лучше всего обратиться к состоянию абиссинской церкви в XIX веке. Там та же психология ревнивого обладания сокровищем, обособления от всего остального мира и отсутствия какого бы то ни было империализма.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ФИЛОФЕЯ

Россия пошла за Филофеем и национальная замкнутость и исключительность, безгливое и боязливое отгораживание от западного мира совершенно закономерно и очень скоро привели Россию к духовному окостенению, которое не замедлило превратиться в угрозу национальному бытию. Смысл реформы Петра и заключался в преодолении национальной исключительности. Народ эту реформу поддержал, вопреки мнению Бердяева.

Народ сопротивлялся не реформе, а тем действительно непомерным тягостям, которые с нею были связаны. «При нем красные дни перестали, а только рубли да полтины», — жаловался народ на Петра. Против же «богомерзкой геометрии» никто всерьез не восставал, наоборот, учились ей с превеликим усердием. Даже выгорецкие скиты, руководимые такими столпами безпоповщины, как братья Денисовы, не осудили принципиально реформы. «Русской душе» реформа Петра не претила. Душа эта охотно покуривала табачок еще при Михаиле Федоровиче и даже раньше, и не хотела отстать от этой привычки, даже когда за нее резали носы. Напрасно Бердяев игнорирует мелочи жизни, иногда они бывают очень показательны. И вообще до западных новинок и диковинок эта русская душа была охотница немалая — даже во времена Филофея, который ведь выражал потребности и настроения верхов русского общества, а не народных низов.

В петровской реформе проявился здоровый государствен-

ный и национальный инстинкт, которым нас Господь не обделил. На смену филофеевскому изоляционизму пришла воля не царская только, но и народная — прорубить окно в Европу.

«Волга впадает в Каспийское море». В эту формулу некоторые евразийцы пытались вложить глубокий геополитический смысл: Россия-де страна азиатская. Если это так, то следует признать, что народная воля сильнее геополитики. Центр государственной жизни был перенесен с Волги на Неву. Второй раз поставленная перед выбором Россия выбрала Запад, а не Восток; первый выбор был сделан при Владимире Святом.

Русские люди случалось горели по лесам, но больше при Федоре и Софье, при Петре кривая гарей была затухающей. Видеть в ней проявление народного протеста против париков и брадобрития нет основания. Гари явление трагическое, и все же следует сказать, что в нем силен элемент случайности, и оно лежит на периферии народного духа.

ПРЕРЫВНОСТЬ

Петровская реформа, по Бердяеву, пример прерывности и неорганичности русского исторического развития. Эта прерывность кажется Бердяеву отличительным российским свойством. Однако, и на Западе этой прерывности было немало. Взять, например, Англию. Англия кельтская, саксонская, норманская, война Алой и Белой Розы; абсолютизм Тюдоров; пуританская революция; ужасы раннего капитализма, — во всем этом трудно видеть образец непрерывного и гармонического развития.

Отмечу мимоходом любопытное противоречие у Бердяева. С одной стороны он сетует на недостаток органичности в русской истории. С другой он утверждает, что Третий Рим и Третий Интернационал одно и то же. Но если это так, то какой же ему еще нужно органичности?

Реформа Петра органична. Насилие, часто ненужное и чрезмерное, которое ее сопровождало, только искажало, а не отменяло характер реформы. Мы самобытны и органичны в нашем европеизме, а наша нарочитая самобытность часто подражательна. Отказ от европеизма для нас «в никуда дорога». Упорство в ложной самобытности, свойственное двум последним царствованиям, толкало страну к катастрофе.

ЗАБЫТАЯ ДОКТРИНА

В творении Филофея нет никаких следов мессианизма. Не оказалось в нем и жизненной силы. В Московском государстве просто не знали, что делать с идеей Третьего Рима. Даже при Грозном она не процвела. Она оказалась ненужной патриарху Никону, и императору Петру и его преемникам.

Сам Бердяев признает, что церковная реформа Никона нанесла смертельный удар идее Третьего Рима. Никон был очень русским человеком в своем глубоком смирении, которое особенно поражает в этом совсем не смиренном по характеру святителе. У Никона нет и следа высокомерного отношения ко второму Риму, который за его грехи, по Филофею, «нечестивые агаряне оскордами рассекоша». Наоборот, с чувством прозелита Никон припадает к подножию вселенского престола, и каким смирением дышут его слова: «Я — русский по рождению, но по вере — я грек».

И у Петра не было недостатка в смирении, когда он пошел на выучку в Европу. «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую», — гласил девиз молодого Петра.

Империя просто не заметила в своем арсенале идеи III Рима и никогда не имела случая о ней вспомнить. Странный продукт национального духа, существование которого оказалось столь эфемерным, и в котором не ощутили никакой нужды ни цари, ни императоры!

Идеей, вдохновлявшей Империю, была идея европейского концерта, а не III Рима. Это — не Филофей, не мессианизм, не империализм.

РУССКИЙ РАЗГУЛ

О нем охотно судачат люди, полагающие важным делом учитывать каждую чарку, которую русский человек несет ко рту. Толки об этом разгуле безвкусно преувеличены. Статистика давно выяснила, что русский народ потребляет алкоголя меньше, чем народы Запада.

Правда, русский мужик «до смерти работает, до полу-смерти пьет» (однако, не при большевиках: при большевиках пить не на что); ведет же он себя так по причинам, ничего общего с тяготением к безднам не имеющим.

ДИОНИС И РАВНИНА

Фантастический дионисизм русского народа Бердяев пытается связать с бескрайностью русской равнины, чары которой тянут русских в беспредельную даль и не позволяют им превратиться в оседлый народ. В подобных утверждениях ничего кроме безответственного фантазирования не содержится.

Бескрайность русской равнины так же относительна, как и бескрайность русского духа. Если понимать под бескрайностью огромное количество свободной земли, которая, почти не требуя труда от земледельца, вознаграждала его сторицей за брошенные на ее лоно семена, то картина эта ничуть не соответствует действительности. Русская равнина — лесная, и Ключевский хорошо изобразил тяжелый труд русского человека, стоящего перед стеной сумрачного леса с топором в руке. Подсечное, огневое хозяйство — это каторжный труд, ничего общего не имеющий с веселым порханием по беспредельной равнине. Трехпольное хозяйство, которое у нас поздно заменило первобытное, не могло ослабить власти земли над нашим крестьянством.

Степным народом русские никогда не были. В степях они вовсе не жили до конца XVIII века. По настоящему освоение степей началось со второй половины XIX века и проводилось оно весьма рациональным способом при помощи сельскохозяйственных машин и железных дорог, причем одновременно в степях возникали шахты и металлургические заводы.

Русские овладевали степями совершенно на тот манер, на который своими степями овладевали американцы. Мистика нетронутой степи не имела времени затронуть русские души. Емшан и ковыль занимают очень скромное место в русской поэзии.

РУССКАЯ БЕСПОЧВЕННОСТЬ

Бердяев говорит о беспочвенности русского народа, о его устремленности к потустороннему миру, о его всегдашней готовности покинуть «сии временные дома» ради «прекрасной матери-пустыни», о его способности отречься от всякой

домовитости, ибо русские сами говорят о себе: «Зде пребывающего града не имамы, грядущего же взыскуем», о перевозданной антибуржуазности русского духа, о русской вражде к государству и государственности, о прирожденном русском анархизме. Взгляды Бердяева подтверждаются будто бы и странниками, и казаками, и Стенькой Разиным, и Бакуниным, и Константином Аксаковым, и нигилистами. Обратимся же к этим доказательствам Бердяева.

Русское странничество с его удивительным благообразием ничего общего не имеет с бродяжничеством, хорошо знакомым Европе в самых его ужасных формах. Бегуны — к слову сказать, крошечная секта, — формально имеют все признаки бродяг, но в основе бегунство отнюдь не антисоциальное явление. Это — протест доведенных до отчаяния людей против бессмысленного полицейского гнета. Конечно, человека можно довести до чего угодно, даже и до бегунства, у нас и довели. Но вот что важно: бегун не может существовать без христолюбца.

Бегунство — это компромисс с христолюбчеством, а христолюбчество — это далекоидущий компромисс с миром. Бегун, отвращающийся от мира, в сущности к миру влечется; он отрицает не быт, а протестует против поругания быта, против невозможности жить в быту. Не особенности русского духа вызвали бегунство к жизни, а рекрутчина и выродившееся крепостное право. На Западе существовали религиозные движения ничуть не менее радикальные, чем бегунство и нетовщина. Монополией на религиозный радикализм и беспочвенность русские не обладают.

Бегуны не государство отрицали, а его злостную неправду. Они протестовали против, так сказать, государственных излишеств. В Англии от этих излишеств уходили в Америку, у нас бежали в леса. И всегда были готовы на разумный компромисс. У нас боролись за свободу совести, как и в Англии, боролись теми средствами, которые были в распоряжении русского человека.

Самосожжения вовсе не праздник Диониса. Это — акт отчаяния несчастных людей, затравленных государством, да и люди-то эти были бы кладом для нужд государства. Очень у них был развит инстинкт и талант домовитости и хозяйственности, именно у этих поборников красной смерти.

Крестьяне, загоняемые в колхозы, в начале 30-х годов по-

вторили трагедию самосожигателей. Известны случаи, когда крестьянские семьи одевались в чистое белье и, отговев и причастившись, кончали коллективным самоубийством. Это были «кулаки» по терминологии антинародной власти, т. е. люди зажиточные, трудолюбивые, может быть чересчур прилепившиеся к граду «зде пребывающему». Но в XVII веке была на Руси не только проповедь самососжигательства, было и «отразительное писание против новоизобретенных самоубийственных смертей», — автор которого, старец Епифаний, имеет, по крайней мере, не меньшее право почитаться выразителем русского духа, чем самосожигатели.

О таком важном центре старообрядчества, как Выг, следует сказать, что там отнюдь не ограничивались осуждением крайностей беспоповства, а проявили настоящий пафос земного домостроительства и доходили даже до стяжательства. Андрей Денисов — очень яркая и типично русская фигура.

Казаки никогда не были ни бродягами, ни анархистами. Они уходили на окраины Московского государства, «не мога терпети» боярской и приказной неправды. Они искали свободы и были достойны ее. Они колонизовали огромные области Дона и Яика; в истории немного было таких колонизаторских подвигов. На новых местах они образовали хорошо организованные поселения, и прославились домовитостью и склонностью к хозяйственной деятельности. Это в особенности поразительно, если учесть, как много сил у казаков отнимала вечная война, которую они вели не из любви к приключениям. Роль женщин в деле хозяйственного устрояния была особенно велика.

Существовала и казачья голытьба, склонная «добывать зипуны» грабежом и разбоем. Это были практические (отнюдь не принципиальные) анархисты. Цель их походов, не поощрявшихся ни правительством, ни домовитыми, была — переход в разряд домовитых, и цель достигалась, а с ней и радикальное изменение психологии. «Пошарпать берега Анатолии», — к этому стремились, но отнюдь не к безднам. Были эти голые и «драные» народом, пожалуй, чересчур практическим и материалистическим.

Казаки не были друзьями московских социальных порядков, они были воплощенным против них протестом. Казачество — явление грандиозное. Наличие казачества в русской истории довольно, чтобы усомниться в склонности русского человека

безропотно тянуть тягло и рабски подчиняться власти, несумевшей приобрести у него авторитета.

Казаки не были врагами Московского государства в принципе; осуждая его недостатки, которые ведь не были вековыми и могли быть рано или поздно устранены, они хотели оставаться его вольными слугами и защитниками. Замечательный документ: «Роспись Азовскому сидению» свидетельствует о развитом и тонком государственном чувстве у казаков. Турки в своем провокационном письме к азовским сидельцам пытались сыграть на их предполагаемом рессентименте. В своем ответном письме казаки и не думают скрывать, что русское государство относится к ним, как к пасынкам. «Мы и без вас знаем, какая нам честь в Московском государстве, нас там почитают хуже последних собак». Но казаки умеют отличать государство-факт от государства-принципа. И они хотят крепко стоять и головы свои положить за Московское государство, чтобы сияли в нем Божии церкви и чтобы было оно паче всех орд басурманских и еллинских.

Трудно в этих людях, правда, способных на величайшие подвиги, найти какое-нибудь влечение к безмерности и безднам.

РУССКИЙ БУНТ

Бунты не являются исключительным достоянием русского государства: Жакерия во Франции, Крестьянская война в Германии красноречиво о том свидетельствуют. Беспощадность, о которой говорил Пушкин, можно без труда открыть в русском бунте; но какому же бунту она не свойственна? Кроме беспощадности бунта существует и беспощадность усмирения, которая с несравненной сдержанностью изображена тем же Пушкиным.

Но вот бессмысленности в русском бунте никогда не было. В русском бунте поражает умеренность и разумность его требований. Экссессов, разумеется, было множество, жгли и убивали, но в основе своей бунт очень далек от безмерности. Разве не умеренны и не разумны были требования толпы, хватавшей за пуговицы царя Алексея Михайловича? Стенька Разин возглавлял колоссальный бунт против бояр и приказ-

ных, но он не отрицал даже крепостного права, а восставал только против злоупотреблений им.

Умеренность и разумность требований можно наблюдать и в новейшее время у кронштадтских матросов, участников Антоновского восстания, у крестьян, поднявших бесчисленные мятежи в дни сплошной коллективизации. Деятели Антоновского восстания, — а оно было грандиозным, — совсем не обнаружили желания выйти за пределы истории: они только вносили своими действиям весьма разумные коррективы в нелепую политику власти.

Пугачев первый восстал против крепостного права, но когда? Когда оно уже стало анахронизмом и превратилось в явление вполне антинародное и антигосударственное. Впрочем, и Пугачев никому никакой дикой воли не обещал, а жаловал крестьян «рабами собственно нашей короны».

Достаточно сопоставить эти факты с фразой Бердяева: «Русский народ не может осуществлять своей исторической судьбы без бунта, таков уже этот народ», — что бы обличилась вся звонкая пустота этой фразы.

Следует отметить еще огромное значение знаменитых русских «бунтов на коленях», с хлебом и солью. Только предубежденному до слепоты человеку могут показаться они мазохистским проявлением рабьей натуры. В них много было кроткой веры в торжество правды. В них не было и тени каприза, мотивированы они были как нельзя лучше. Это было типичное непротивление злу насилием, массовый русский гандизм. На эти бунты тратилась благородная энергия русской души, и ничего общего они не имели ни с «вековой привычкой к рабству», ни с тяготением к безднам.

БУНТ И РАЗБОЙ

Не один только Бакунин смешивал бунты и разбой. Бунт и разбой не имеют между собой ничего общего. Бакунин и Ткачев жестоко заблуждались на этот счет. Разбой вполне антисоциальное явление, бунт занят решением социальных проблем, хотя и пользуется при этом несостоятельными средствами.

Бакунин, говорит Бердяев, «идеализировал разбойную, разинскую, пугачевскую стихию в русском народе». Идеали-

зирова́л — значит имел о ней неверное представление. Вообще тут у Бакунина (и у Бердяева) путаница великая: разинская и пугачевская стихия совсем не разбойничья, которая была сама по себе, никаких чудесных свойств в себе не заключала и в России была выражена гораздо слабее, чем на Западе.

Да, «Сарынь на кичку» гремело когда-то по Волге и вызвало ответную реакцию государства: «Сия сарынь ничем кроме жесточи, унята быть не может». Но была эта сарынь очень скромна по сравнению с грандиозными и усовершенствованными формами разбоя на Западе. Там он был даже легализован и развился до правовых форм. Возник и процветал узаконенный грабеж потерпевших кораблекрушение. Русский разбой производит прямо-таки жалкое впечатление по сравнению с флибустьерством и другими формами великолепно организованного западного пиратства.

ВЛАСТЬ СТИХИИ

Бакунин воззвал к разбойничьей стихии: она даже не пошевелилась. Восторжествовал в русской революции не Бакунин, а Ткачев с его презрением к массам. Ленин — ткачевец, и слишком хорошо известно его отношение к стихийности. Кое-какая стихия затрепетала было в русской революции, но она была оседлана большевиками с величайшей легкостью. Ленин только из тактических соображений не хотел прокламировать своего презрения к массам; оно у него было невысказанной основой его рассуждений о стихийности и сознательности.

Бакунин верил во всемогущество стихии, и он заблуждался, а для Бердяева заблуждение Бакунина — закон истории. Недостойно обоготворять стихию, хотя бы и торжествующую. Стихия всегда подлежит нравственному суду. Впрочем, в русской революции восторжествовала не стихия, а личный секретариат Сталина. Иные поклонники стихии удивительно легко от обожания стихии обратились к обожанию секретариата, за что, в строгом соответствии с законом тоталитаризма, и были уничтожены в первую очередь тем самым секретариатом, в котором они готовы были видеть воплощенный разум истории.

Редкий случай торжества справедливости в истории.

Бердяев верил в непреборимую стихийную силу революции. Революции, по его мнению, predeterminedены свыше.

НЕБЕСНЫЙ СУД

«В обществе копится много ядов, не находится положительных творческих возрождающих сил. И неизбежен суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции».

Точная осведомленность Бердяева о том, что делается на небесах, мешает ему заметить очевиднейшие явления, происходящие на земле. Именно в промежутке между революциями 1905 и 1917 гг. обнаружилось в России огромное количество положительных творческих возрождающих сил. Между грандиозной массовой и, несмотря на усилия социалистов, в основе своей разумной революции 1905 года и ублюдочной революцией 1917 года разница бьет в глаза. Победила не могучая революция 1905 года, а именно — случайная и слабая 1917 года, никому не нужная, ни для кого не желанная.

В самом общем смысле Бердяев прав: всякая революция паразитирует на неблагополучии общества. Но слишком часто революции случаются, когда неблагополучие начинает устраиваться и когда перед страной открываются широкие перспективы хозяйственного, правового и культурного развития. Революции всегда случайны, приходят с опозданием и ничего не исправляют. Не обладают они и даром справедливого возмездия, каковым никак нельзя считать массовые истребления ни в чем неповинных людей.

Бердяев — самозванный вестник небесного суда. На самом деле суд этот — вовсе не небесный, а является он просто выражением бессмысленной стороны истории.

Величайшая ложь утверждать, что революции наступают только тогда, когда греховность власти превзошла всякую меру и чаша долготерпения Божия переполнилась. Кто эту меру мерил, кто эту чашу видел? Не следовало бы учреждать Суд Божий, не следовало бы так демонстративно заявлять о том, что Господь Бог во всем согласен с Бердяевым.

Конечно, по причине слабости человеческой, заповеди Божии всегда, на всем протяжении человеческой истории ис-

полнялись плохо. Это — трюизм, из которого нельзя выжать никакой плодотворной истины. Гораздо интереснее указать на ряд других фактов. Как никак, а заповеди Божии человечеством не только нарушаются, но и исполняются, пусть в очень несовершенной мере. И в России во второй половине XIX века их исполняли в мере не часто встречающейся в истории: очистились от грехов крепостного состояния, жестоких телесных наказаний, рекрутчины, несправедного суда. Революция вовсе не была заслуженной карой, и в этом трагедия России.

Причина революции заключалась не в том, что мы недостаточно громко протестовали против нашего государства, а в том, что мы стремились его разрушить, иные даже со сладострастием, вместо того, чтобы беречь его, как зеницу ока. Идеальной государственности быть не может, а наша была лучше многих, которые Господь до сих пор почему-то терпит. А если бы мы нашу весьма несовершенную государственность прикрыли грудью от революции, то, может быть, мы жили бы теперь в отчем доме, а не мыкались по чужим и теплым морям и красным далям.

Государство — не инструмент для отыскания и осуществления Царства Божия и правды его, но жизнь без этого двусмысленного института невозможна, а устранение его ведет ко злу, может быть непоправимому.

ВАЖНЕЙШАЯ ОСОБЕННОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ

Революции никогда не бывают фатальными. Никогда не приходят они в то время, как грехи режима достигли предела, а всегда с опозданием. В те дни, когда ужасы капитализма на Западе повергали массы людей в бездну неописуемых страданий, никакой революции не произошло, а реальной угрозой она стала в наши дни, когда капитализм перестал быть капитализмом. Никакой железной необходимости за революциями не стоит. Торжествуют они потому, что человеческие общезития чрезвычайно хрупки. Социальная несправедливость есть одно из средств уменьшить эту хрупкость. Сказанное только констатация факта, а отнюдь не попытка оправдания жестокости и несправедливости.

Если оставаться на почве фактов, величественно игнори-

руемых Бердяевым, и усвоить бердяевскую манеру рассуждений, то недалеко и до богохульства. Ведь революции приходят именно тогда, когда старое общество начинает освобождаться от пороков и вступает иногда довольно энергично на стезю добродетели. Если же усваивать дурную манеру отделяться от серьезного рассмотрения вопроса по существу легковесными формулами, то придется сказать: «Революции приходят, когда люди перестают «грешить бесстыдно, непробудно», и обращаются к Божией правде».

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» — это гениально. Но: «покайтесь, а то как бы революция не случилась» — это довольно низменно и совершенно не заслуживает патетического приятия. Опыт, особенно столь красноречивый, как русский, учит тому, что кайся не кайся, а революция все равно нагрянет, и тем скорее, чем усерднее будем каяться.

Эти мало благочестивые размышления невольно возникают при усердном чтении Бердяева. Освободиться от их соблазна можно только решительно отвергнув концепцию Бердяева.

ПРИЯТИЕ ИЛИ НЕПРИЯТИЕ РЕВОЛЮЦИИ

Никаких оснований для приятия русской революции нет. Апелляция к настроениям масс неубедительна: массы не указ, когда речь идет о выполнении долга. Да массы у нас за коммунизм и не стояли. Революция ничуть не была народной. Противоположное утверждение — миф, изобретенный досужими теоретиками. Революцию отрицали не только белые армии (а они состояли из русских людей), но и крестьяне Антонова и даже кронштадтские матросы.

«Просто» становится на сторону контрреволюции — т. е. ни с того, ни с сего, конечно, не следует, а с разбором отчего же нет? Русская «контрреволюция», если так величать дело Корнилова, Алексева, Деникина, возглавлялась отнюдь не худшими людьми России, и была она куда больше народным движением чем революция. «Пролетарий на коня» — звонкая и пустая фраза, и пролетарий на коня не сел, а сел воронежский мужик и не ради прекрасных глаз Троцкого, а по мобилизации. Но и мобилизация имела свою оборотную сто-

рону: у Троцкого было больше миллиона дезертиров. Это тоже было «голосование ногами», значение которого не уменьшается от того, что оно не нравилось марксистам.

«Были ли подлинно христианскими старые общества и государства, именовавшие себя христианскими?» — вопрошает Бердяев. И если нет, то он не хочет быть с ними в дни несчастий и страданий, он лучше пойдет к Сталину. Конечно, **подлинно** христианских обществ не было и никогда не будет. А неподлинно христианские веками существовали без революций, переживали революции и, при всей своей неподлинности, иногда творили христианское дело.

РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ КОТУРН

Стихийность, без которой, по Бердяеву, революция не в революцию, есть не больше, как выдумка Бердяева. Самая характерная черта нашей революции заключалась в том, что она обошлась без революционной воли русского народа. Россия оказалась чистейшим объектом революции. В этом ее трагедия: в инерции и слабости народа, в его неспособности (временной и обусловленной преходящими обстоятельствами) стать субъектом.

Величайшая ошибка изображать дело так, что на путях революции стояли мощные плотины русской государственности, но хаос на дне русской души зашевелился — и плотины были снесены. На самом деле ни хаоса, ни плотин не было. Была слабость правительства, пассивность народа и активность злонамеренной кучки. Пассивность народа была главным козырем революции, никому не нужной, ни для кого нежеланной. В революцию пошло ничтожное меньшинство народа, а доброкачественное большинство растерянно молчало и топталось на месте. Вина русского народа заключалась в бездействии по причине отсутствия воспитания к действию. В топтании на месте и состоял весь российский революционный дионисизм.

Народной революции в России не состоялось. Она не обнаружила ни малейшей власти над народной душой, никаких признаков очарования. За нее ухватилось ничтожное меньшинство. На фоне всеобщего недоумения, переходившего в ропот, ненадолго бы разгулялось и оно, но некто другой пре-

поясал любителя русского хаоса и повел его туда, куда тот вовсе не хотел идти. Большевики, конфисковавшие революцию в свою пользу, несомненно одержимы безумием, но совсем не дионисическим.

Национальная революция оказалась в России невозможной, народная — слабой; воля к народной революции оказалась в России много слабее, чем в Европе. Слабость этой воли и случайное стечение неповторимых обстоятельств и привели к победе революции утопической, т. е. глубоко противной духу всякого народа. Различие между тремя видами революций очень важно методологически, несравненно важнее, чем томы писаний о шевелящемся хаосе, полярностях, безднах и прочей бердяевской бутафории.

Непредвзятое изучение русской революции неизбежно приводит к тому выводу, что русский народ не творец революции, а ее жертва, что не он проделал революцию, а над ним ее проделали. Пора бросить псевдомистические формулы о хаосе и Дионисе. Бедный греческий бог в русской революции не повинен.

ЛЕНИН

Не на стихийности выехал Ленин. В стихийности он, как верный ученик Ткачева, видел величайшую опасность для его революции. Он понимал природу революции плохо, но все же несравненно лучше, чем Бердяев. Русская революционная стихия оказалась совсем ледащей и Ленин согнул ее в бараний рог, почти не заметив ее сопротивления.

Что Ленин был великим магом революции — это не более, как заблуждение, правда, очень распространенное. «Он построил теорию и тактику русской революции» — говорит Бердяев, и это одно из самых некритических его утверждений. Российская революция часто объясняется по-большевистски даже врагами большевизма. Ленин будто бы предвидел все этапы революции и в соответствии с этим предвидением создавал свои гениальные стратегические идеи. Потом он с величайшим мастерством проводил эти идеи в жизнь. Революционный марксизм будто бы в неразрывной связи теории с практикой творил российскую революцию.

Все это большевистские мифы и ничего больше. На самом

деле стратегические идеи Ленина оказались чистейшим вздором. При их создании Ленин оперировал не с живой действительностью, а с изобретенными им фикциями. Ленин жил в воображаемом мире. У большевиков он почитался, как величайший практик и реалист, был же он маньяком и фантастом. Все его теории и прогнозы оказались ложными, все его планы провалились.

Самая гениальная из идей Ленина — союз пролетариата и крестьянства — провалилась так же, как и все другие его гениальные идеи. До 1917 года для осуществления этой идеи не было сделано ни шагу. После октябрьской революции пришлось признать, что крестьянство «ворчливый» союзник, т. е. — никакой. Была сочинена теория о том, что т. н. «кооперативный план Ленина» это и есть форма, в которой крестьянство исполняет свои союзнические обязательства. Это чистейшее мифотворчество.

ТИТАНИЗМ

Бердяев открывает титанизм в советской действительности и советской философии. Под титанизмом действительности подразумевается командирская воля большевиков и нечеловеческое напряжение масс. Вся суть этого титанизма заключалась в том, чтобы «догнать и перегнать Америку». Титанизм, как видно, довольно жалкий. К тому же не догнали и не перегнали, хотя человеческого мяса не жалели. И теперь уже ясно: не догонят. Вся производственная истерика большевиков — это «титанизм» суженного человеческого сознания, титанизм экскаваторов и тракторов.

Советская философия тоже не содержит в себе никакого титанизма. Ее задача — как бы угодить диктатору или, на худой конец, не прогневать его. Она — отражение личной патологии диктатора или путаницы в головах коллективного руководства. Когда советские ученые говорили, что наука была создана дважды: в первый раз во времена Ренессанса буржуазией, а во второй — после октябрьской революции Сталиным, то они отличнейшим образом выражали суть советской философии. Суть эта — безграничный сервиллизм. Титанизм несовместим с раболепием советских мыслителей, с их подбострастием, заглядыванием в глаза деспоту.

В русской жизни трудно найти следы титанизма, который нужно оставить в собственность Западу. На Западе — Фауст, а у нас только Васька Буслаев. Правда, у нас был Аввакум, но ведь и на Западе был Савонаролла. Таких титанов, как Лютер и Кальвин, у нас не было. И из другой области: не у нас продавали душу черту, — это занятие западное. На Западе — Ф. Вийон, Бенвенуто Челлини, Цезарь Борджиа, Л. да Винчи, алхимики, конвистадоры, великие авантюристы, тираны . . . Нам нечего этому противопоставить. Еще в XIX веке романтический западный поэт, по соглашению со своей возлюбленной, убивает ее, а потом стреляется сам. Если уж искать безмерности — так на Западе, а совсем не в России.

Титанизм совершенно чужд русской психологии. Пожалуй, и слава Богу. Фальшивый советский титанизм — это осел в львиной шкуре.

Совсем не титан Суворов. Мы с детства запомнили парадные строфы:

Ступит на воды — воды кипят,
Ступит на горы — горы трещат,
Башни рукою за облак кидает.

В этом наивном нагромождении гипербола чувствуется невозможность создать портрет «богоравного» героя высокой оды, пользуясь реалистическими чертами оригинала. Суворов — не «богоравный»; в его лице генералиссимуса, графа Рымникского, светлейшего князя Италийского явственно проступают черты капитана Тушина или даже Платона Каратаева. Он не лишен юродливой хитринки. Байрон над ним издевался именно за то, что в нем совсем не было романтического великолепия, и он никак не подходил под представление о титане.

Суворов — военный до мозга костей. И все же он не «хищный», а смирный, и тоже до мозга костей. В этом сочетании воинственности и «смирности» — ключ понимания его личности. Сын его на отца не похож: он ближе к великолепному князю Тавриды, тоже очень русскому типу, несколько не хищному и не титану.

Среди наших выдающихся военных совсем не было эгоцентриков (Скобелев — единственное исключение). Но и безличностями они отнюдь не были. Наши рядовые военные — это Максим Максимович и майоры Горталовы. Мы совсем не похожи на немцев.

От своих рабов большевизм требует свойств, ничего общего не имеющих с прометеевскими. У самих большевиков много маньячества, которое для близоруких людей может сойти за титанизм, но много также мертвого педантизма. Они не поэты, а педанты революции. И революция их — бездарнейшая из всех, известных в истории.

РУССКАЯ ВОЛЯ

Бердяев видит в русском крестьянине неполноценное существо, что-то вроде унтерменша. Это ясно из его трактовки отношения крестьянства к крепостному праву. Бердяев полагает, что крестьяне подчинялись крепостному праву в силу заложенного в них инстинкта рабства, и восставали против него в силу заложенного в них инстинкта бунта. Эти чертовы качели: бунт-рабство — и есть судьба русского крестьянства. Но качелей не было, и не было этих инстинктов — ни того, ни другого. А было разумное и свободное приятие крепостного права, до тех пор пока оно было исторически оправдано. Крестьяне рассуждали примерно так: «Помещики служат великому государю, а не станем мы на них работать, и с чего им тянуть государеву службу?» И было разумное восстание против отслужившего свою службу крепостного права, прежде всего против тенденции принизить личность крестьянина до положения раба. С рабством русский крестьянин никогда не мирился и отрицал его страстно, но для этого праведного отрицания он совсем не нуждался ни в инстинкте анархии, ни в помощи Диониса. Русский бунт совсем не дионисичен.

Здесь уместно сказать несколько слов о русской воле. Г. П. Федотов, писатель в некоторых отношениях родственник Бердяеву, так рассуждает на эту тему:

«Москве не удалось, как известно, до конца дисциплинировать славянскую вольницу. Она в казачестве, в бунтах; в XIX веке она находит себе исход в кутежах и разгуле, в фантастическом прожигании жизни, безалаберности и артистизме русской натуры. В цыганской песне и пляске эта сторона русской души получает наиболее адекватное выражение». «Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе вы-

ражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти, разбойничества и тирании».

С нами крестная сила! Неужели в самом деле русский народ окончательно пропащий?

Надо посмотреть на волю трезвыми глазами. Воля не есть субстанция русского человека. Она — признак и не главный, и преходящий. Воля возникает там, где очень уже стеснена свобода; воля — реакция на чрезмерность дисциплины, и она — эрзац свободы. Воля всегда индивидуалистична, иной раз даже до антисоциальности. Воля свидетельство и о том, что русская личность жива и под татарами, и под Москвой; и о том, что личность эта поставлена в ненормальное положение. Воля — предчувствие и обетование свободы, воля — протест против чересчур большого стеснения свободы.

Люди, которые ставят волю в вину русскому народу и в то же время сетуют на отсутствие у русского человека личности, просто не понимают, что они говорят.

ОБ АНТИБУРЖУАЗНОСТИ РУССКИХ

«Никогда русское царство не было буржуазным», заявляет Бердяев, видя в русской не-буржуазности ценную и непреходящую черту.

Сделаться буржуазным русское царство действительно не успело. Но задатки к тому были — и не малые. Вспомним, что русские купцы создали русскую текстильную промышленность, еще не выйдя из крепостного состояния. Панический ужас русской интеллигенции перед «чумазым» (даже Тургенев не был чужд страха перед русским буржуа «в овчинном тулупе с набитым до изжоги брюхом») имел же какое-нибудь основание. К началу XX века русская буржуазия культурно выросла: типы Островского продолжали жить только на сцене Малого театра, и нельзя не помянуть добром широкого купеческого меценатства: Мамонтов, Морозов, да мало ли их было. Широкий был этот купеческий народ; широта и буржуазность друг друга не исключают. Деловой размах русского купечества только намечался в XX веке. Русский капитализм был молод, с исторической сцены он сошел не за дряхлостью, а погиб насильственной смертью, не сдержав своих великолепных обещаний.

Очень сложна тема русского ренессанса, о котором в «Русской идее» есть несколько блестящих и частично глубоко верных страниц. Но думается, что при достаточно глубоком анализе этого явления нельзя не заметить в нем «буржуазного» привкуса, иногда очень явственного и неприятного. Россия обуржуазивалась. А после упразднения большевизма буржуазная реакция народных масс против социализма будет очень острой. Мы еще блеснем своим мещанством, и тогда Запад потеряет последнее основание нас презирать.

Это вовсе не значит, что русский человек буржуазен навсего. Большая ошибка считать каждое утверждение Бердяева ложным и заменять его прямо ему противоположным. Это было бы дальтонизмом наоборот. Антимещанская струя у русских действительно очень сильна, и ею захватывались у нас даже купцы и промышленники. Но антимещанство — вовсе не ступенька крутой лестницы, по которой спускаются в социальный ад большевизма. Концепция Бердяева не верна. Между Западом и Россией никакой пропасти нет. Мы — буржуазны и антибуржуазны, Запад — тоже. Это — общее наше противоречие, которое не следует доводить до космических размеров.

«В России нет и не будет значительной буржуазной идеологии» («Р. И.», стр. 26). Непременно будет. Буржуазного дела по причинам, о которых я здесь говорить не стану, может быть и не будет, а идеология... да почему же ей не быть? Разве только, что она напугается бердяевских заклинаний. Конечно, идеология эта будет соответствовать своей эпохе: она обойдется без веры в homo oeconomicus и без повторения задов вульгарной политической экономии. Возрождение капитализма в России не неизбежно. Но оно возможно и желательно. Социализм, полученный по наследству от большевиков, обреч бы Россию на безысходную отсталость.

Святой Нил Сорский, о котором с сочувствием упоминает Бердяев, действительно замечательная и вполне русская фигура. «Он... заступник свободы по понятиям того времени, он не связывал христианство с властью, был противник преследования и истязания еретиков», — пишет Бердяев. Это так. И этому святому было присуще в высшей степени чувств меры. Вот его подлинные слова:

«Без мудрствования и доброе на злое бывает ради безвремения и безмерия. Егда мудрствование благим время и меру

уставит, чуден прибыток обретается. Прежде времени в высокая не продержати. Среднею мерою удобно есть проходить. Средний путь не падателен есть».

Эти прекрасные слова вовсе не обозначают проповеди золотой середины. Проповеди влечения к безднам тем паче.

ОТНОШЕНИЕ РУССКИХ К ВЛАСТИ

Не раз Бердяев свидетельствует против самого себя.

«Насильственный характер Петра ранил народную душу» («Р. И.», стр. 19). Значит русскому народу не всегда свойственно обожание тиранов. И он, действительно, не обожал ни Петра, ни Бирона, ни Аракчеева, ни Сталина. Не пал ниц он, разве физически, перед Иваном Грозным. А возвеличило русское сознание кроткого и сердцем чистого царя Федора Ивановича, и как возвеличило! Русский народ был пленен его милосердием, жалостливостью, даром нравственной интуиции и ничуть не огорчился тем, что царь Федор Иванович не возносился ни умом, ни крепкою волею, да и возноситься ему было нечем.

Но он заслужил нежный панегирик летописи и трогательную оценку его личности В. О. Ключевским, полную глубокого сочувствия. А. К. Толстой с любовью вывел его в своей драме и, кажется, хотел сказать: «Вот такими держится русская земля». Москвин создал на сцене Художественного театра обаятельный образ последнего Рюриковича на русском престоле, и долго еще этот образ будет воспитывать русские души. Ни один из русских царей не привлек к себе столько любовного внимания.

Совершенно правильно говорит Бердяев: «В России нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным» («Р. И.», стр. 20). Непонятно одно: почему преобладание нравственного элемента непременно должно было вести к большевизму? Не правильнее ли сказать, что большевизм восторжествовал вопреки этому несомненному преобладанию.

УМЕРЕННОСТЬ РУССКИХ УМСТВЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ

История России никоим образом не свидетельствует о чрезмерной любви русского народа к крайностям. Два умственных течения в России XVIII века заслуживают быть отмеченными: вольтеррианство и масонство. Вольтеррианство — это не слишком дорогой подарок Запада и было оно у нас модой, умственным поветрием, сибаритством. Масонство несравненно значительнее; народ слышал о «фармазонах». Масонство несомненно просочилось в народ; вольтеррианство осталось ему глубоко чуждым. Оно было приспособлено кое-как для нужд вырождавшегося крепостничества.

О масонах Бердяев говорит (опять свидетельство против себя): «Русские масоны всегда были очень далеки от радикального иллюминатства Вейсгаупта». «Большая часть масонов была монархистами и противниками французской революции» («Р. И.», стр. 21-22). Они были равнодушны к алхимии, магии и оккультным наукам, т. е. к популярной тогда на Западе форме безмерности. Они в большинстве своем даже не были противниками крепостного права, хотя, конечно, стояли за гуманное обращение с крестьянами. Охотнику до безмерностей и бездн с русскими масонами делать нечего.

Чаадаев и Хомяков были людьми, по собственному признанию Бердяева, далекими от крайностей. Преклонение Чаадаева перед Европой и нежность к ней Хомякова, вовсе не случайна у этого славянофила («страна святых чудес») — это проявление национальной скромности, которая ни с мессианскими претензиями, ни с тяготением к безднам несовместима.

Славянофилы в рамки Бердяева не укладываются никак. И сам он признает это: «Славянофилы были богатые русские помещики, просвещенные, гуманные, свободолюбивые, но очень вкорененные в почву (значит была в России кое-какая почва. Н. О.), очень связанные с бытом (значит был в России кое-какой быт. Н. О.) и ограниченные этим бытом («Р. И.», стр. 49). И понятно, что «этот бытовой характер славянофильства не мог не ослабить эсхатологической стороны их христианства» («Р. И.», стр. 49-50). Эту мысль Бердяев выражает на разные лады. «Хомякова и славянофилов нельзя назвать в точности мессианистами. Элемент пророческий был у них сравнительно слаб» («Р. И.», стр. 50). Итак, славянофилы — не мессианисты. Западни-

ки и того менее. Русский национализм, позднее — слабое и всего менее самобытное явление. Мессианистских черт он был лишен совершенно.

Спрашивается: где же в таком случае таится мессианство в России?

СЛАВЯНОФИЛЫ О РУССКОЙ ИСТОРИИ

Бердяев к славянофилам относится несколько свысока. Их мысли о государстве и русской истории кажутся ему наивными. Бердяев не прочь зачислить К. Аксакова в анархисты. К. Аксаков действительно говорил: «Государство, как принцип — зло; государство по своей идее есть ложь», что он и пытался объяснить императору Александру II. Но никакого анархизма у славянофилов вообще и в частности у К. Аксакова не было.

Государству славянофилы противопоставляли не анархию, а земщину. По их понятиям земщина не отрицала государства, а государство не должно было посягать на земщину. Демонию государства они чувствовали не менее, чем скопцы демонию пола. Но славянофилы знали, что ни той, ни другой демонии не преодолеть посредством хирургической операции. Славянофилы ничуть не похожи на скопцов: скопцом был Михаил Бакунин.

Представления славянофилов о русской истории должны быть отчасти реабилитированы. Это верно, что в русской истории завоевание имело несравненно меньшее значение, чем на Западе, и пафоса завоевания в ней совсем не чувствуется. Наша история есть история обороны и очень тяжелой. Есть насилие завоевания и есть насилие защиты от завоевания. Наше знаменитое тягло, наше закрепощение государству всех сословий и есть эта последняя форма насилия. И она была принята и оправдана русским народом не из «вековой привычки к рабству и повиновению», а потому, что она не была рабством и не имела с ним ничего общего, и потому, что другого выхода не было. Это не мешало народу, принимая принцип тягла, протестовать и очень энергично против «боярской и приказной неправды», что опять таки очень плохо мирится с вековой привычкой к рабству.

Чтобы избежать противоречия Бердяев ставит рядом с ин-

стинктом рабства инстинкт бунта, ключ, который должен отпирать все замки. Оказывается, очень легко писать русскую историю!

Когда К. Аксаков провозглашает: «В основании русского государства добровольная свобода и мир», — то это, конечно, преувеличение. Но этой свободы и этого мира в самом деле было у нас больше, чем на Западе. Главное, империализма у нас не было. Третий Рим не империализм, а воля к обособлению, и Третий Интернационал ничего общего не имеет с Третьим Римом.

РУССКИЙ НИГИЛИЗМ

Некоторые замечания Бердяева о русском нигилизме метки и верны. Например, о «марксионистическом» характере атеистической веры нигилистов, которая вытекла из невозможности для них примириться со злом и страданиями этого мира.

Конечно, нигилизм представляется Бердяеву исключительно русским явлением. И во многом Бердяев изображает его совершенно неверно.

Нигилизм — преходящее явление русской жизни. Он был, прошел и в прежнем своем виде не имеет ни малейших шансов на возрождение.

Поражает двойственность нигилистического сознания, противоречие между этически окрашенной волей, практическим признанием этических ценностей за высшие — с одной стороны, и исповеданием философии эгоистического интереса и этического релятивизма — с другой. Сознание говорило: «Человек произошел от обезьяны». Воля утверждала: «Надлежит жизнь свою отдать за благо ближнего». На практике противоречие не сознавалось и от его наличия не ощущали ни малейшего неудобства. «Русский нигилизм, — говорит Бердяев, — был нравственным рефлексом над культурой, созданной привилегированным слоем и для него лишь предназначенной» («Р. И.», стр. 133). Иначе говоря, русский нигилизм не был нигилизмом: подлинный нигилизм несовместим с нравственным началом.

Нечаев — нигилист. Но и Чайковский нигилист. Между двумя этими людьми пропасть. Нигилисты были такими, ка-

кими изображали их Кравчинский и Крапоткин; по крайней мере, такими они хотели быть. Русский нигилизм вышел не из Нечаева. Нечаев, может быть, единственный русский всамделишный нигилист. Он свободен от противоречий; чайковцы страдают осознанным или неосознанным противоречием. Дело Нечаева послужило для них толчком к нравственному очищению. В них сильна воля к идиллии. Для того, чтобы осуществить их хождение в народ, нужно было быть блаженненькими. Потом, пережив шок разочарования, они перешли к террору, без всякого к нему влечения. Они чувствовали себя загнанными в тупик террора и вину за это возлагали на правительство.

Есть упоение в бою

И бездны мрачной на краю —

это настроение было им совершенно чуждо. Оно появилось позднее у эпигона террора — Савинкова. Но этот декадент совсем не типичен для русского нигилизма.

«Зловещая жуткая фигура Нечаева — характерно русская фигура», — уверяет Бердяев. Пустяки: ничуть не русская. Он увел за собой обманом кучку зеленых юнцов и оказался одиноким. Сам же Бердяев говорит: «Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма» («Истоки», стр. 52). Характерно русская фигура оказалась под бойкотом. Русский нигилизм — сложное и противоречивое явление. И он преодолевался; его преодоление говорит о трещинах русской жизни, может быть, малосимпатичных Бердяеву, но достаточно «почвенных».

СХОДСТВО С ЗАПАДОМ ТАМ, ГДЕ БЕРДЯЕВ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ РАЗЛИЧИЕ

Россия не отделена от остального мира пропастью. Когда она обнаруживает черты, особенно интересные для Бердяева, она не копирует, конечно, но повторяет Европу и часто не слишком ярко. У Тютчева было «грандиозное теократическое мировоззрение». Но и у Ж. де Местра оно было. Достоевский, говорит Бердяев, открыл подпольность, т. е. мир подсознательного. Но и Фрейд открыл его. (Говоря это, я вовсе не собираюсь ставить Фрейда вровень с Достоевским).

Тематика Достоевского — не русская, а общечеловеческая. В известном смысле можно сказать, что Достоевский наименее русский писатель. Достоевский, по мнению Бердяева, только и мог появиться в России, ибо Россия была обречена революцией и только в обреченной стране могут появляться великие бунтари.

Обреченность России — ложная интуиция Бердяева. Факт революции совершенно недостаточное свидетельство обреченности. А бунтари могут появляться всюду. Байрон появился в Англии, хотя она обречена не была. Ибсен, тоже великий бунтарь, появился в буржуазнейшей и благополучнейшей Норвегии. В обществе Байрона, Киркегора, Ницше, Стриндберга, Ибсена, Л. Блуа, — Достоевского признали бы своим, не требуя от него свидетельства об обреченности его родины.

Белинский в своем неистовстве дошел до «маратовской любви» к человечеству. Но на практике и много раньше Белинского осуществил эту любовь Марат. К тому же маратовская любовь была лишь «моментом» в развитии Белинского, и тот же Белинский, — цитирую Бердяева, — «признавал положительное значение за развитием в России буржуазии» («Р. И.», стр. 106).

Бакунин, по мнению Бердяева, типично русский. «Анархизм есть главным образом создание русских» (Р. И., стр. 145). Однако, это создание оказалось «главным образом» предметом экспорта. Процвел анархизм на Западе, а в России успеха не имел. Да и возник анархизм все-таки на Западе, и ни Бакунин, ни Крапоткин, не были его оригинальными творцами.

Бердяев незаконно расширяет понятие анархизма. Он заявляет: «Принципиально духовно обоснованный анархизм соединим с признаками функционального значения государства, с необходимостью государственных функций» («Р. И.», стр. 155).

Так конечно легко доказать, что все русские — анархисты, но только то, что Бердяеву угодно величать анархизмом, — не анархизм, и не имеет с анархизмом ничего общего. Обличение неправды закона («Р. И.», стр. 155) в самом деле очень свойственно русским, и слава Богу, что свойственно, — но опять-таки это ничуть не анархизм. Что «Легенда о великом инквизиторе» отрицает государство — это совершенные пустяки. Достоевский отрицает не государство, а тоталитарное го-

сударство, — разница. В одном Бердяев прав: свобода для Достоевского не право, а обязанность, долг; не легкость, а тяжесть. Эта идея чужда огромному большинству анархистов и эмпирический анархизм ей враждебен.

ОТНОШЕНИЕ К ЗАПАДНЫМ УЧЕНИЯМ

Бердяев настаивает на том, что если русские усваивали какое-нибудь западное учение, то сейчас же превращали его в откровение, относились к нему религиозно. «Дарвинизм, который на Западе был биологической гипотезой, у русской интеллигенции приобретает догматический характер, как будто речь шла о спасении для вечной жизни» (Р. И., стр. 29).

Серьезное и страстное отношение русских к вечным вопросам — действительно существенная черта русского национального характера. Но далеко не всегда она имеет нелепое выражение. К дарвинизму у нас относились по разному; было и критическое отношение, начиная с фундаментального труда Н. Я. Данилевского «Дарвинизм», до замечательной работы Л. С. Берга «Номогенез или теория эволюции на основе закономерностей». Н. К. Михайловский, а авторитет он в свое время был великий, относился к дарвинизму совсем не идолопоклоннически, о чем свидетельствуют его статьи, посвященные критике дарвинизма и до наших дней сохранившие некоторое значение.

«Увлечение Гегелем носило характер религиозного увлечения и от гегелевской философии ждали даже разрешения судеб православной церкви». Но разве на Западе к гегелевской философии не относились точно так же? И не всегда же у нас обходились с Гегелем, как с Иверской, случалось и как с Перуном, которого наши предки волочили по улицам, привязав к конскому хвосту. Совсем уж нет религиозного отношения к Гегелю в таких, например, стихах:

На рыдване, в телеге ли,
Еду ночью из Брянска я, —
Все о нем, все о Гегеле,
Моя дума дворянская.

И тот самый Белинский, который принял в свое сердце Гегеля в 1837 году, уже в 1840-м восстал против гегелевско-

го мирового духа, против тоталитаризма Гегеля, против *Allgemeinheit*, восстал во имя живой человеческой личности. В восстании было больше правды, чем в поклонении. И Бердяев это знает: «Гегель все таки решительно утверждал господство общего над частным, универсального над индивидуальным, общества над личностью. Философия Гегеля была антиперсоналистической» («Р. И., стр. 75). У нас это поняли в начале 40-х годов прошлого столетия. Русские поделом отвергли Гегеля. У некоторых русских мыслителей (Н. Ф. Федотов) нерасположение к Гегелю доходит до ненависти именно из-за гегельского антиперсонализма и тоталитаризма.

Вот, наконец, слова Бердяева о влиянии Ницше, самом сильном влиянии на русский ренессанс XX века, по его словам. «В Ницше было воспринято не то, о чем больше всего писали о нем на Западе, не близость его к биологической философии, не борьба за аристократическую расу и культуру, не воля к могуществу, а религиозная тема» («Р. И.», стр. 230).

Как видно, отношение к западным учениям было свободное и критическое. Есть линия развития русской мысли, и эта линия не упирается ни в тиранию, ни в анархию, ни в бездны. Это линия человечности, свободы, утверждения непреходящей ценности человеческой личности и социальной справедливости. Брала у Запада то, что соответствовало глубинным влечениям русской души, брали с большим разбором, а не то, что попало. Идолопоклонническое отношение к западным авторитетам не так часто встречается в истории русской мысли, и идолопоклонство легко преодолевается.

Был и такой случай, когда в недостаточно критическое заимствование западной новинки внесло поправку крестьянство. «В фаланстер Фурье верили, как в наступление Царствия Божия» («Р. И.», стр. 29). Т. е. верил Петрашевский и еще пять или шесть человек. Когда Петрашевский выстроил фаланстер для своих крестьян — с целью их осчастливить, те, не проявив никакой эсхатологической настроенности, поспешили эту священную казарму сжечь. Акт, конечно, варварский, но, замечу кстати, варварство крестьян было антикоммунистическим.

ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОСТИ

Бердяев придает немало значения слабому развитию собственнических инстинктов у русского народа и видит в этой слабости одну из причин торжества коммунизма в России. «Социализм глубоко вкоренен в русской природе» («Р. И.», стр. 101). Очень легко опровергнуть этот тезис Бердяева. Начать с того, что проявления чувства собственности у русского народа иногда бросаются в глаза. Довольно указать на отношение крестьян к тайным вредителям межевых знаков. Но допустим, что при покушениях на межевые знаки страдала общественная собственность. А как крестьяне обходились с конокрадами? Обхождение это слишком хорошо известно, а конокрадство на Руси было ведь преступлением против частной собственности.

Бердяев прав в одном: отношение к частной собственности у русского человека несколько иное, чем на Западе. Человек для русских важнее, чем собственность, — это верно. Но это совсем не означает отрицания частной собственности. Своих прав собственника русский человек не считает абсолютными и всегда готов в какой то мере ими поступиться, по-человечески, а не из абстрактного принципа.

А вот «священную неприкосновенную социалистическую собственность» русский человек действительно отрицает страстно. Нескончаемые жалобы советской власти на народ, на осуществляемое им в грандиозных размерах «расхищение» и «разбазаривание» социалистической собственности, в особенности колхозной, упорная и жестокая борьба власти с этим «разбазариванием» и «расхищением», отчаянные попытки народа отстоять свой жалкий приусадебный участок от бессовестных посягательств власти, — камня на камне не оставляют от утверждения Бердяева будто «социализм глубоко вкоренен в русской природе».

«Расхищение» и «разбазаривание», т. е. утверждение частной собственности в войне с социалистической, давно стало национальным делом, делом правым и спасительным. Но делать из этого сознательно антисоциалистического поведения трудящихся масс тот вывод, что русский человек отчаянный буржуа, так же неверно, как заподозривать его в социализме на том основании, что он в благословенные царские времена переживал посягательства на его частную соб-

ственность далеко не столь болезненно, как западный собственник. Русские не абсолютизируют собственности, не считают ее высшей ценностью, но они ее совсем не отрицают. Просто русский человек умеет спасти свое человеческое лицо, как от компрачиков частной собственности, так и от компрачиков социализма.

Римское понятие собственности терпит ограничение в русском сознании. Но разве не терпит оно ограничений в народно-хозяйственной практике Европы? Особенность русского отношения к собственности требует не юридических, а нравственных поправок. Но от этой особенности никакого мостика к социализму не перекинешь.

Если подойти к вопросу исторически, то в России имела место весьма энергичная эволюция от собственности семейной и общинной к индивидуальной. Стоит вспомнить волну семейных разделов в 90-х годах, когда правительство оказалось не в силах справиться с ясно выраженной народной волей. Любопытно, что наиболее активную роль в движении играли женщины с их лозунгом: «Моя изба, моя печь, мой горшок!». Столыпинская реформа, как бы к ней ни относиться, несомненно была принята страной.

Ни из русского сознания, ни из русских общественных отношений нельзя вывести коммунизма. «Построение социализма в одной стране» было вызовом русскому народу, а не уступкой его психологии.

ИМПЕРИАЛИЗМ

Наибольшей ошибкой Бердяева является его понимание коммунизма, который он выводит из русского духа, связывает с посланием инок Филофея и православным монашеским аскетизмом и считает, что «коммунизм детерминирован русской историей».

Детерминированность существует только в воображении Бердяева. Даже если бы мессианиззм, империализм, аграрный социализм, максимализм, поляризованность и прочая мифология Бердяева не была бы чистой выдумкой, то и в этом случае выводить коммунизм из всех этих мнимых его предпосылок было бы делом чистейшего произвола.

Русский мессианизм у Бердяева неизменно переплетается с

русским империализмом. Все время Бердяев оперирует этими двумя признаками.

Начинает Бердяев за здравие:

«Русские устремлены не к царствию этого мира, они движутся не волей к власти и могуществу. Русский народ по духовному своему складу не империалистический народ, он не любит государства».

Далее начинается переход к заупокойным настроениям:

«И вместе с тем это народ колонизатор, и имеет дар колонизации и создал величайшее в мире государство. Получилась болезненная гипертрофия государства».

И наконец чистый заупокой:

«В сознании русской идеи, русского признания, в мире произошла подмена. И Москва-Третий Рим, и Москва-Третий Интернационал связаны с русской мессианской идеей, но представляют ее искажение. Нет, кажется, народа в истории, который совмещал бы в своей истории такие противоположности. Империализм всегда был искажением русской идеи и русского призвания» («Р. И.», стр. 218).

Все неверно у Бердяева. Русская мессианская идея всегда была до такой степени слаба, что можно спорить о ее существовании. Империализм никогда не был ее искажением, а был независимым от нее незначительным явлением, прозябавшим где-то на периферии русской мысли. Никакого противоречия между душевной настроенностью русского народа, его нелюбовью к государству и созданием империи нет. Государство огромно потому, что русская равнина огромна и была она почти пуста. По тем же причинам американцы создали огромное государство и всетаки не стали ярко выраженными империалистами. Самая огромность русской равнины обычно преувеличивается до крайности. Да, два с половиной миллиарда десятин площади, но из них пригодных для земледелия только 150 миллионов, да и эти 150 в большей своей части отвоены у леса в процессе векового тяжелого труда.

Мы создали нашу Россию, отвоевав ее у леса, как голландцы отвоевали свою Голландию у моря. На эту войну с лесом ушло почти девять столетий нашей истории, и это очень мало похоже на империализм. Народ-колонизатор — это верно, но колонизация — это не колониализм. В нашем овладении просторами восточно-европейской равнины и Сиби-

ри была существенная разница с методами американской колонизации: у нас не было индейцев, подлежащих истреблению.

Поражает отсутствие империалистической идеологии в России и слабость империалистических настроений. О Пушкине говорят, что он «певец империи и свободы», империи, но не империализма. Известные стихи из «Кавказского пленника», вызвавшие негодование князя Вяземского, это почти все, что можно поставить в упрек Пушкину; впрочем тема замирения Кавказа у Пушкина перекликается с темой восхищения горцами, отстаивающими свою «дикую свободу». Стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» считаются крайне империалистическими. Одобрения современников они не встретили и князь Вяземский окрестил их шинельными, слово довольно поносное. Что же мы находим в этих отверженных стихах Пушкина?

Так высылайте к нам, витии,
Своих озлобленных сынов.
Есть место им в полях России
Среди не чуждых им гробов.

Это из «Клеветников». Тот же мотив еще сильнее звучит в «Бородинской битве». Это значит: Пушкин представлял себе будущую войну не как нападение России на Европу, а как нападение Европы на Россию по образу Отечественной войны, память о которой была жива в русском народе. Недаром говорит он о развалинах пылающей Москвы и вспоминает о русских снегах. Пафос Пушкина есть пафос обороны, а не пафос наступления и он связан с очень глубокими традициями русской истории.

Самые славные боевые воспоминания русских всегда связаны с обороной. Вершины этой оборонной славы: Псков, устоявший перед натиском Батория, Смоленск с его воеводой Шеиным, Троице-Сергиевская Лавра, Чортов Мост, Бородино, Севастополь, памятник которому воздвиг Толстой в «Севастопольских рассказах». Излюбленными темами картинок, украшавших стены русских казарм в царское время, были оборонные подвиги: Бородино, с его Шевардинским редутом и Семеновскими флешами; подвиг рядового Архипа Осипова, взрывающего пороховой погреб уже захваченного неприятелем русского укрепления; смерть адмирала Нахимова; подвиг майора Горталова, — чистая жертва, плохо по-

нятная иностранцам; стояние на Шипке, на которой «все спокойно».

Воинская слава не тешит русского воображения. «Дай Бог великому государю послужить, а сабли из ножен не вынимать», — такое пожелание далеко от империалистических вожделений. Но если уж приходилось саблю вынимать, тогда стояли до конца. Говоря о своей службе, о походах и ранах, русский человек не забывал упомянуть об осадном сидении. Типичные наши военные: капитан Миронов, Максим Максимыч, капитан Тушин. Наши военные в сущности не были империалистами. Сравнить только Мольтке и Д. А. Милютину, их биографии, даже их лица; до чего это разные человеческие типы.

Московское государство было слабо и роскошь империализма была ему не по средствам. Оно даже не могло собрать всех разрозненных русских земель. Поразив Мамаю, оно истекло кровью и стало легкой добычей Тохтамышца. Было ли оно сильным позже? Конечно, не тогда, когда Улу-Махмет уводил в плен Василия Темного. Кое-как овладели Казанью, неотложная национальная задача была разрешена. Но Ливонская война Грозного закончилась тяжким поражением. В смутное время «воры» и литовские люди выжгли Россию, и поляки сидели в Кремле. Столбовский мир означал глубокое унижение России. При Алексее Михайловиче чуть не завоевали Польшу, а потом потеряли и с трудом удержали левобережную Малороссию. При Петре чуть не сломали себе хребет в непосильной борьбе со Швецией, но прорубили балтийское окошко в Европу. Цена, заплаченная за окошко — уменьшение населения империи с шестнадцати миллионов до двенадцати.

И только при Екатерине, при полном почти отсутствии сопротивления со стороны Польши и благодаря союзу с Австрией и Пруссией, русские земли, оторванные Польшей от России, были с ней воссоединены. «Отторженная возвратих». Заняты были южные степи, номинально принадлежавшие Турции, и замирено разбойничье крымское гнездо. Как раз эти приобретения не были результатом тяжелой войны. Фериически побеждали турок под Рымником и Чесмой, — и Потемкин развернул в Новороссии огромную культурную работу.

Росла и крепла Россия не войнами, а несмотря на войны.

Росла и крепла внутренней колонизацией, ростом населения, успешной разработкой природных богатств. В 1725 г. жило в ней 12 миллионов человек, в 1796 — 36 млн., в 1861 — 60 млн., в 1897 — 126, в 1914 — 171 миллион. И до половины XIX века Россия не перешагнула за пределы своей равнины, и было в ней только два инородных тела: Финляндия и Польская Конгрессука.

До XX века русские войска были в Европе шесть раз: 1) при Петре (собственно в Польше, во время шведской войны; результаты и цена ее известны); 2) при Анне, в Польше — бессмысленный поход, который принес лавры Миниху и Ласси и не дал ничего России; 3) во время семилетней войны; заняли Берлин — звучит гордо; 4) суворовские походы — плод павловской романтики; и империализма в этих походах не было ни на грош; 5) в 1813-15 г., когда мы освобождали Европу от Наполеона; 6) в 1849 г. в Венгрии; в этом жесте русского охранительного идеализма самый пристрастный взор не может открыть никаких империалистических вожделений.

О русском империализме можно говорить, как о явлении XIX и XX веков. Это был поздний и на редкость слабый империализм. Он не сделал никаких приобретений в Европе. Крымская война (1853-1856) закончилась поражением России. Русско-турецкая — горьким унижением, который принес России Берлинский конгресс. К слову сказать, эта война только в Европе считается империалистической. Русские воспринимали ее, как освободительную, потому она и была популярна. Русско-японская война кончилась поражением России и, что особенно важно, ни малейшего сочувствия в русском обществе не вызвала. Вообще, настроение русского общества всегда было резко антиимпериалистическим. Русский империализм родился под несчастной звездой.

Русский империализм выражен гораздо слабее, чем всякий другой. Пафоса империализма у нас днем с огнем не сыскать, национальным настроением он никогда не был. Зато протест против этого чахлого империализма был страстный и всеобщий. Явление это можно найти только в России.

На Японскую войну русское общество ответило поголовным пораженчеством. Русский империализм ни в какой мере не был связан с мистическим русским мессианизмом. Генерал Куропаткин был бы крайне удивлен, если бы ему ска-

зали, что он на сопках Маньчжурии продолжает дело инок Филофея.

Некоторые успехи русский империализм одержал только в начале XX века. Успехи эти были получены милостью Англии и благодаря крайней слабости Востока, не оказавшего русской и английской экспансии ни малейшего сопротивления. Избежать империалистического фатума в эпоху величайшего развития империализма Россия не могла. Но жизненным нервом русской истории империализм никогда не был. И был он выражен до смешного слабо.

Русская история — это борьба с мощными империализмами: татарским, шведским, немецким, литовским, польским, французским, опять немецким. В этой борьбе Россия не раз оказывалась между жизнью и смертью. С величайшим напряжением всех сил она освобождала себя, а иногда попутно и других.

Русская история сложилась очень несчастно. Этим объясняются некоторые грехи русского народа. Но империализм к числу этих грехов не принадлежит.

В России совершенно отсутствовала империалистическая идеология. Тщетно искать среди государственных людей империалистов. Победоносцев ни о каком империализме не помышлял. Он знал одно: «Россия — это ледяная пустыня, а по ней бродит лихой человек». Нессельроде был почти агентом Меттерниха. Ни князь Горчаков, ни последовавшие за ним Гирсы и Ламсдорфы ни о каких авантюрах не помышляли. Витте всю силу своего влияния употребил на сохранение мира. Константин Леонтьев, самый глубокий из русских реакционеров, считал, что Турцию надо не разрушать, а сохранять. В споре болгар с вселенским престолом он стал на сторону Фанара. Это делает честь его принципиальности и последовательности, но, конечно, его позиция ни с каким империализмом не имеет ничего общего. Русский империализм — это неумная сказка неумных врагов России. Бердяев с его инстинктом отталкивания от реальности хватается за эту сказку.

Н. Я. Данилевский — единственный, кого у нас можно назвать с большой натяжкой империалистом. Да и тот идеолог не России, а славянства. Данилевский мечтал об объединении славянства — мечта не нужная, не прекрасная и явно утопическая. Но она исключала с необходимостью вся-

кий империализм. Ведь мечтал Данилевский не о завоевании, а об объединении. Претензии на мировое владычество или хотя бы на владычество над Европой отвергал радикально: такая претензия находилась бы в резком противоречии с его отрицанием единой общечеловеческой цивилизации и с его убеждением, что каждый тип цивилизации имеет право на существование.

Успеха Данилевский не имел. Его книга встретила страстную, во многом пристрастную, но в основном справедливую критику В. С. Соловьева. Мыслящая Россия пошла за Соловьевым, а не за Данилевским. С другой стороны панславистские идеи Данилевского не нашли ни малейшего сочувствия в русском правительстве, в особенности в министерстве иностранных дел.

Бердяев не любит уточнять терминов. Он охотно пользуется словами: империализм, капитализм, социализм, которые в наши дни потеряли почти всякий смысл. В России было слабое подобие империализма. Был капитализм настолько недоразвитый, что большевики устранили русскую буржуазию, не заметив ее сопротивления. И есть социализм, который никто не рискнул признать за настоящий. И мессианизма у нас никогда никакого не было, если не считать нескольких слабых, никем не воспринятых литературных упражнений (т. н. мессианизм Достоевского нуждается в самых существенных оговорках, да русская интеллигенция и не сошлась с Достоевским в этом пункте).

НАЦИОНАЛИЗМ

С империализмом обычно тесно связан национализм, о котором прекрасно говорит Федотов:

«Фашисты всех стран говорят о национальной культуре, но кроме исторических символов и имен, они вкладывают в нее одно и то же содержание. Если бы мы могли мысленно разрезать черепа десятка молодых людей, принадлежащих к Гитлер-Югенд, к Баллиле, к Фаланге и т. д., то увидели бы, что эти черепа набиты одним и тем же: спорт, техника, авиация, военное дело и военные забавы, культ мужества и насилия, товарищества и жестокости, религии государственности — и при том в одних и тех же формах, везде до уто-

мительности одно и то же. Различна лишь направленность ненависти. И эта ненависть к чужому — не любовь к своему — составляет главный пафос современного национализма — не в одних фашистских странах. Национальный фашизм оказался товаром для экспорта. Претенциозный борец против рационализма буржуазного общества, он представляет типический продукт современной механизации жизни. Но это лишает смысла всю его борьбу — титаническую и безумную. Немцы могут разрушить весь мир во имя великой Германии, которая не будет отличаться от фашизированной Франции, Америки или России» (Г. П. Федотов, «Новый град», стр. 108).

Существовал ли в России подобный национализм до большевиков? Нет. А тот, который существовал, не имел сторонников и отличался крайней внутренней слабостью. Наш очень жалкий национализм — позднего происхождения: он возник приблизительно в 80-х годах и был продуктом вполне западного происхождения. Никакой самобытности в нем не было. То, что он считал «тысячелетними традициями», было на самом деле всего лишь предрассудками некоторой части высших и средне-высших бюрократических кругов. Его «тысячелетние традиции» родились в петербургских канцеляриях. Национального содержания он был лишен совершенно. Это отметил еще проникательный К. Леонтьев. Поскольку он оказался политикой власти, он способствовал ее изоляции от общества.

Отсюда безнадежная слабость руссификации (тоже очень позднее явление). Разве так берутся за дело настоящие националисты? Германизация, полонизация, мадьяризация — это дело мастеров. Руссификация же всегда производила самое жалкое впечатление и не может похвастаться даже скромными успехами. И совсем не потому не руссифицировали мы наших окраин, что не могли (подумаешь, мудрость какая!), а потому что не хотели. Очень уж противной оказалась руссификация русскому духу и верному государственному инстинкту. Это предопределило ее неудачу. Руссификация не национальная идея, а бюрократическая выдумка, бездарное подражание Западу.

В России интересен не национализм с его руссификацией, а общественная реакция на национализм. Она всегда была отрицательной, и для понимания русской души она имеет бесконечно большее значение, чем убогий национализм. Рус-

ское общество ничего слышать не хочет о национализме, даже в том случае, если ему случалось быть частично и относительно правым.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИЗМА

О русской революции Бердяев способен внушить самые ложные представления. «Коммунизм есть русская судьба», — говорит он («Р. И.», стр. 251).

Бердяев поклоняется успеху, не как таковому, а потому, что путает успех с судьбой. Он всякий успех готов возвести в ранг судьбы. «По русскому духовному складу революция могла быть только тоталитарной... Русские — максималисты, и именно то, что представляется утопией, в России наиболее реалистично» («Р. И.», стр. 249). Этот постулат освобождает Бердяева от обязанности хоть сколько-нибудь считаться с действительностью и открывает безбрежный простор для полета его фантазии. Он пишет сусальный портрет коммунизма, не жалея синьки и сурика. Портрет этот не имеет ничего общего с оригиналом.

Коммунизм для Бердяева — это отрицание частной собственности, бесклассовое общество, братство. Бердяев упрекает Хомякова за то, что тот противопоставляет реальному католицизму идеальное православие. Сам он противопоставляет идеальный коммунизм даже не реальному современному, а давно исчезнувшему капитализму времен промышленного переворота и чартизма. Признаки коммунизма, перечисленные Бердяевым, или пустые слова, или целесообразные фикции, служащие интересам тирании. Общественная собственность на средства производства означает:

Лишь мы работники всемирной
Великой армии труда
Владеть землей имеем право,
А урожая — никогда.

Так колхозники расшифровали Интернационал. Но реализм колхозников для Бердяева есть пустяк, недостойный внимания. Он твердит свое: коммунистический принцип будто бы гласит — «Служи другому, обществу, целому». Вопиющая неправда. Это — шифр, который может обмануть только желающих быть обманутыми. В расшифрованном виде

принцип гласит: «Служи части, ничтожнейшему меньшинству, диктатору и его попыхачам во вред и на погибель огромнейшему большинству». Таково действительное содержание коммунистического принципа, о котором молчат.

Тут мы вступаем в область большевистского фикционизма, с которым стоит и падает большевизм. Служба целому есть принудительная фикция, совершенно такая же, как фикция счастливой зажиточной жизни, заботы о человеке, морально-политическое единство советского народа и тысяча других. Фикционизм есть изобретение большевизма, неизвестная другим социальным формациям. Рабовладельцы не додумались объявить рабство формой служения обществу и целому, а рабов людьми, обремененными счастьем. Фикционизм — самая суть коммунизма и мощное орудие его властвования. Бердяев не имеет о фикционизме ни малейшего понятия.

«В социально-экономической системе коммунизма есть большая доля правды, которая вполне может быть согласована с христианством». («Истоки», стр. 150) . . . Ни коллективизация, ни концлагери, ни социалистическое соревнование, ни сталинский план преобразования природы, ни хрущевская целина, с христианством согласованы быть не могут. В нацистской системе тоже была доля христианской правды. И все же: нацизм — это газовые печи, а не ликвидация безработицы. Почему Бердяев не выступает адвокатом нацизма? Почему, говоря о нацизме, нужно благочестиво всплескивать руками и возводить очи горе, а коммунизму можно делать глазки? И как такое поведение может быть согласовано с христианской правдой?

В самом деле: как? Я думаю, что в основе взглядов Бердяева, и не его одного, лежит неосознанный принцип: «Все дозволено по отношению к русскому народу». Поэтому то, что не может быть прощено Гитлеру, охотно прощается Сталину. Никакой народ нельзя подвергать истреблению, а русский можно. На Западе охотно верят, что людоедство можно поставить на службу гуманизму. Но при непременном условии: применяться оно должно только к русскому народу. Путь к всеобщему счастью лежит через массовое человекоистребление, но истреблять надлежит только русских . . .

Для чуткой совести, отвращающейся от базирующегося на людоедстве гуманизма, дело не в отыскании того, что

может быть согласовано с христианством, а в бескомпромиссной борьбе с тем, что согласовано быть не может. Нацизм и коммунизм надлежит вышвырнуть вон вместе с их «христианской правдой».

Принцип: «Все позволено по отношению к русскому народу» — западный принцип. Бердяев — медиум, отлично воспринимающий дурные западные влияния, принцип этот бессознательно усвоил. Но тема эта слишком сложна, чтобы на ней здесь останавливаться.

Бердяев говорит («Р. И.», стр. 98), что в русском коммунизме произошло отречение от русской человечности не по целям, а по средствам. Бердяев не различает раннего и зрелого коммунизма. О гуманности целей, и то с очень существенными оговорками, можно говорить только по отношению к раннему коммунизму, а средства у коммунистов всегда утверждались только бесчеловечные. Поздний коммунизм отрекся и от гуманных целей. Впрочем, это было не столько отречение, сколько осознание собственной природы. Поздний коммунизм — это радикальное отрицание человечности, неразрывно соединенное с фикцией человечности. Цели современного коммунизма абсолютно бесчеловечны.

КОММУНИЗМ — НОВАЯ ВЕРА РУССКОГО НАРОДА

Это — одна из самых неудачных выдумок Бердяева. Коммунизм не только не стал, но и не мог стать верою народных масс. «Грабь награбленное» и «Режь буржуя» — это в конце-концов не марксизм. Да и увлекали эти лозунги отбросы, а не народ. Они вдохновляли махновцев. За коммунистами пошло ничтожное меньшинство и оно было привлечено отнюдь не коммунистическими лозунгами, которые коммунисты тщательно скрывали. Ни колхозов, ни социалистического соревнования они не проповедывали, а ораторствовали о «мире, хлебе и свободе». В этих лозунгах нет ничего коммунистического. Уже во время военного коммунизма между партией и народом разверзлась пропасть, о чем всему миру возвестили пушки Кронштадта.

Первое сознательное выступление русского народа было направлено против коммунизма. А подняли знамя восстания матросы — краса и гордость революции, пожелавшая стать

красой и гордостью народной свободы. Это взрывает все схемы Бердяева.

«Народная душа, — уверяет Бердяев, — легче всего могла перейти от целостной веры к другой цельной вере, охватывающей всю жизнь» («Р. И.», стр. 115).

Такого перехода не было и не могло быть, потому что и старой ортодоксии задолго до «Октября» уже не существовало. Об этом свидетельствуют все добросовестные наблюдатели народной жизни, судящие о ней не по Шпенглеру. Не в качестве доказательства, разумеется, а только для иллюстрации, приведу один факт из множества подобных.

В конце 80-х годов М. Г. Савина, артистка Александринского театра и очень православная женщина, оказалась в глуши Пермской губернии и там почти на ее глазах произошел случай, который ее очень заинтересовал и который она тщательно обследовала.

В деревне (соседней с той, в которой жила Савина) обнаружилась явленная икона. Ночью баба, проснувшись, заметила в овине свет. С чего быть в овине свету? Не иначе — воры, — и баба поспешила разбудить мужа. Мужик, запасшись обухом, направился в овин. Но никаких воров в овине не оказалось, а свет исходил от маленькой иконки, которой раньше не было и которая теперь сияла в углу, освещая весь овин.

Мужик поднял соседей. Все видели икону и чудесный свет, и положили завтра доложить о событии батюшке и отпеть пред явленной святыеи молебн. Так полагалось; а впрочем никакого особенного религиозного воодушевления крестьяне не проявили.

Дальше начались неприятные осложнения. Батюшка был неприятно удивлен. Оказалось: владыка не любит явленных икон и требует в подобных случаях строжайшего расследования. Исправник, который со своей стороны должен был донести о происшествии начальнику губернии, опасался, как тот примет его рапорт, — и принялся без конца опрашивать крестьян, стараясь найти естественное объяснение чудесному событию.

Крестьяне были крайне недовольны. Страдная пора, а тут теряя время на разговоры с начальством. Конечно, Господь взыскал милостью, но уж больно не во время. Больше всех был недоволен крестьянин, в овине которого была обречена

икона. Под конец он даже возроптал на Бога: почему не посетил какого-нибудь богатого мужика, а ему не под силу: каждый день таскают к исправнику — чистое разорение. Так, вместо русского Лурда, ничего не получилось, кроме канцелярской переписки и крестьянского неудовольствия.

В происшествии, заботливо обследованном Савиной и очень реалистически и без тени скептицизма ею описанном, не чувствуется никакой православной ортодоксии, которая ждет, чтобы на смену ей пришла ортодоксия большевистская. И не чувствуется никакого эсхатологизма. Схемы Бердяева никакого отношения к русской жизни не имеют, — очень это ясно становится, когда окунаешься в гущу этой жизни.

От старой ортодоксии русский народ отстал, но и к новой не пристал. Было бы удивительно, если-б это случилось, если-б народ, принял в свое сердце новую ортодоксию, свирепую, агрессивную по отношению к нему и отвратительную.

Бердяев говорит об энтузиазме индустриализации, о превращении ее прозы в поэзию. Т. е. он ровнехонько ничего не видит, ровнехонько ничего не понимает. «Энтузиазм» (не говоря об огромном числе лжеэнтузиастов, порожденных инстинктом самосохранения) принадлежит не народу, а микроскопическому насильническому меньшинству, — но даже и в этом меньшинстве он не продержался до конца первой пятилетки. А затем его сменила фикция энтузиазма, утверждаемая властью.

Поскольку русский народ продолжает еще верить в братство и социальную справедливость, он противопоставляет эту свою веру коммунистической ортодоксии. Даже в тех редких сравнительно случаях, когда коммунистическая вера еще сохранилась у молодежи — это только видимость веры.

Толстой рассказывает об одном помещике, который однажды вечером по привычке стал на молитву. Брат спросил его равнодушно: «А ты еще делаешь это?» И с того вечера помещик больше не молился. Стена его веры, говорит Толстой, рухнула от прикосновения пальцем. Мы наблюдали советскую молодежь на оккупированной немцами территории, когда большевистский пресс оказался снятым, и можем засвидетельствовать: большевистская вера падала от прикосновения пальцем. Но по большей части и прикосновения было не нужно: веры не было.

Правда, народ пыхтел — совсем не добровольно — над «Кратким курсом истории ВКП(б)», но дальше 4-й главы, по признанию самих коммунистов, не пошел. 4-ю и прочие главы он предоставил Жану Ролану и вообще цвету французской нации. Новая ортодоксия потерпела полное поражение. Все, чего могли добиться большевики, — это лицемерного исповедания ортодоксии, когда без него обойтись нельзя. Чистое принуждение имеет своей оборотной стороной потерю какого бы то ни было влияния большевистской догмы на народную душу.

Речь идет именно об официальной догме, в которую давно не верят и большевики. Догма эта замещена эзотерической стороной большевизма, окутанной пышными одеждами фикционализма. Только об этой эзотерически-фикционалистической стороне коммунизма и имеет смысл говорить. Но Бердяев не имеет о ней никакого понятия. Он все еще всерьез берет то, что написали Маркс и Ленин.

Слабость коммунистической идеи на русской почве чрезвычайна. Русский коммунизм мертв, но жив русский антикоммунизм, который Бердяева совершенно не интересует и который он игнорирует. Тем хуже для Бердяева, а не для русского антикоммунизма, который есть явление огромное.

Большевизм вполне чужд русскому народу. Никакой западной цивилизации он не насаждает и не держится за доморощенное российское варварство, а русская культура ему глубоко враждебна. Он стоит на собственном варварстве, нового стиля, еще небывалого в истории.

Ни о каком соответствии большевизма инстинктам масс не может быть и речи. Инстинкт крестьянина требует, чтобы он обряжал собственную землю, а его гноят в колхозах. Инстинкт русского человека отнюдь не влечет его в концлагери, а в России нет семьи, которая не имела бы своим членом концлагерного сидельца. Русские не хотят ни темпов, ни соцсоревнования, а отделаться от них не могут. Русские ненавидят «карающий меч пролетарской диктатуры», а их заставляют выражать нежную любовь к «органам» и требовать, чтобы их больше сажали в концлагери и расстреливали. Это ли соответствие инстинктам? А ведь темпы, соцсоревнование, колхозы, концлагери и расстрелы — это не частность, а самая суть коммунизма.

Тоталитарная власть вполне чужда и враждебна народу

и держится она исключительно насилеи, а не «новой ортодоксией». Насилие большевиков особое, небывалого в истории типа, — это насиле, сочетающееся с фикционализмом. Тоталитарная власть падает не потому, что начнут сомневаться в ее правоте, а потому что начнут сомневаться в ее силе. Всякая другая власть может позволить себе роскошь быть слабой, но не тоталитарная.

ФИКЦИОНАЛИЗМ

Нельзя судить о коммунизме только на основании его фразеологии, как это с легким сердцем делает Бердяев. Фразеология не раскрывает коммунизма, а окутывает его непрозрачным облаком.

Чрезвычайная оригинальность большевизма заключается не в том, что он отверг идеалы свободы и права, реально существующие на Западе, отчасти в противоречии с мирозерцанием западного человека, не в том, что он утвердил общество на откровенно рабских началах, а в том, что он ввел в мир неведомое ему раньше **начало чистого фикционализма**. Ибо коммунизму не ограничивается тем, что он обрекает подвластную ему часть человечества на безысходную нищету: он наименовал ее «зажиточной жизнью» и «бурным ростом благосостояния трудящихся»; рабство он наименовал свободой («я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»; «человек проходит как хозяин, по просторам родины своей»); подневольное напряжение сил — трудовым энтузиазмом; бесчеловечный режим — торжеством гуманизма. Главное же: он террористическими способами заставил людей — не верить в эти и множество подобных фикций, ибо, конечно, верить в них невозможно, и вера насилеи не вымогается, — **а делать вид, что верят**.

Это для большевиков необходимо, это для них вопрос жизни и смерти. Вера им не нужна, принудительное оказательство веры необходимо. Большевики требуют от своих рабов не веры, а, во-первых, громкого ее исповедания и, во-вторых, поведения, соответствующего подлинной вере. Только так большевики могут осуществить свое властвование.

Большевизм замечателен тем, что он есть выражение воли к власти, не нуждающейся ни в каком оправдании, не свя-

занное ни с какою верою (но непременно с фикцией веры). Веры у большевиков нет. Они когда-то имели ее, и тогда большевизм был простой разновидностью западно-европейского утопического социализма, очень лево ориентированного. Только потеряв свою веру, большевизм обрел самого себя. Разумеется, я говорю о подлинном и в то же время эзотерическом лице большевизма, может быть сознанию большевистских вождей неведомом.

Большевики пережили настоящую внутреннюю революцию после захвата ими власти, полуосознанную Лениным и очень хорошо осознанную Сталиным. Революция заключалась не в убийной практике партии: эту же убийность принимали все революционные социалисты, только с меньшей последовательностью, чем большевики. Революция заключалась в отречении — полном и окончательном — от гуманистического идеала левых социалистов, который, по их мнению, может быть осуществим только посредством истребления целых поколений. Революция заключалась в отречении от свободы, к которой будто бы можно придти только через рабство. «Пролетарский гуманизм» и есть утверждение этого каннибальского лево-социалистического гуманизма, но только в качестве чистой фикции.

Большевики поняли, что ничего кроме абсолютного бесчеловечия им не остается, и это на веки вечные. Это и есть тоталитаризм, и его большевики (т. е. командующие, а не шесть миллионов партийной массы) и приняли в свое сердце.

Коммунистическая идеология переродилась в фикционализм. Уже у Ленина можно проследить зачатки фикционализма. Но Ленин образец честного мыслителя по сравнению со Сталиным. Ленин, например, утверждал примат политики над экономикой, что было, разумеется, отказом от марксизма. Этот примат до крайности усилился при Сталине. Но Сталин с его манией фикционализма приказал считать примат политики над экономикой приматом экономики над политикой. Он уверяет, что хозяйство в СССР развивается в строгом подчинении экономическим законам. Этих законов четыре:

1. Индустриализация.
2. Коллективизация.
3. Социалистическое соревнование.
4. Догнать и перегнать.

Совершенно ясно, что это не экономические законы, а административные распоряжения, продиктованные презрением к экономике. И в то же время эти законы есть выражение и торжество большевистского фикционализма.

Другой пример. Свою насильственную и кровавую коллективизацию Сталин приказал считать мирным завершением пресловутого «ленинского кооперативного плана», осуществленным добровольным порывом многомиллионного крестьянства, при сопротивлении ничтожной кучки кулаков.

Большевизм есть радикальнейшее отрицание человека. Первоначальный идеал большевизма — это насильственная гармония; счастье человечества, принудительно осуществляемое деспотической властью. Благодаря их острейшему инстинкту самосохранения, большевики скоро поняли, что насильственная гармония неосуществима. Поэтому они отказались от действительной гармонии — с тем, чтобы тем решительнее утверждать фиктивную.

«Расписаны были кулисы пестро»... В России эти кулисы никого обмануть не могут. Чем пестрее большевики размалевывают кулисы, тем больше обостряется инстинкт восприятия реальности у русского человека. Большевики это превосходно знают, и это их ничуть не беспокоит: официальный восторг перед кулисами, полнейший и всеобщий, они обеспечить умеют. Но на Западе взирают на кулисы с верою и млеют от умиления. Причину умиления следует искать в воле к самообману, типичной для западного интеллигента, а воля эта коренится в трусости, ибо увидеть современный мир таковым, каков он в действительности, очень страшно. Но я не пишу исследования по психологии современного западного человека...

Бердяев «декламирует страстно»... Я не берусь судить об искренности этой декламации, а только об ее объективной ценности. В ней нет ни на грош понимания дела, и она очень мало оригинальна. Это типичный опиум для интеллигенции (интеллектуэлей), о котором говорит в своей интересной книге Р. Арон. Это типичный западно-европейский максимализм за счет русского народа.

Фикционализм — самая существенная черта в коммунизме, к ней он в своем развитии неизменно приходит. Этой черты не было и не могло быть ни у инока Филофея, ни в аскетическо-монашеском православии, ни даже в нашем глу-

пом и честном нигилизме. Это черта новая, небывалая, и к русскому духу ни малейшего отношения не имеющая.

Коммунизм — явление вполне чуждое России, столь же чуждое, как татарское завоевание или водородная бомба.

НОВЫЙ ТИП ЧЕЛОВЕКА

Большевики уверяют, что они создали новый тип человека. Бердяев им свято верит. Он пытается нарисовать этот тип. Своих красок на палитре Бердяева нет; в изображении нового человека он просто следует большевистским штампам. Я попытаюсь нарисовать этого большевистского героя не столь мертвенными чертами, для чего приведу несколько строк из моей неопубликованной работы о социалистическом реализме.

«Это — человек своей эпохи, величайшей в истории человечества — ленинско-сталинской эпохи. Он исполнен безграничных душевных сил и обладает изумительной целенаправленностью и безграничным героизмом. Жизнь его — сплошная цепь подвигов. Главное его свойство — беззаветная преданность делу Ленина-Сталина и неиссякаемый активизм. От его классового чутья, революционной бдительности, пролетарского гуманизма и неудержимой склонности к критике и самокритике остро пахнет человеческой кровью.

Это — манекен партийно-беспартийной большевистской добродетели, созданный для проведения кампаний, не имеющий никаких мыслей и чувств, кроме предписанных партией, извергающий волны партийного энтузиазма, но только там и тогда, где и когда это предписано и в точном соответствии с предписанной мерой. Он вечно пьян от помоев партийной агитации (т. е. делает вид, что пьян). Особенно блещет он модными добродетелями, пока они модны, и всегда эти добродетели либо ненависть, либо восторг: ненависть к растленной буржуазной культуре, к низкопоклонству перед иностранцами, к безродным космополитам, восторг перед целиной или кукурузой.

Он — передовик в своей области. Он принимает на себя социалистические обязательства и перевыполняет их. Он непрерывно повышает свою техническую квалификацию и до последнего времени с воодушевлением прорабатывал «Крат-

кий курс истории ВКП(б)» и «Биографию И. В. Сталина». Теперь больше не прорабатывает. Он является новатором, смело ломающим устаревшие нормы, поражающим теории предельщиков и обличающим слепоту специалистов. Он проводит генеральную линию партии, непременно с очковтирательством, иначе невозможно, — и с видимостью первосортного энтузиазма. Он всегда в рядах тех, кто борется за внедрение в массы стахановских методов, за уплотнение рабочего дня, за выявление скрытых резервов производства, за комплексную механизацию, за ускорение оборачиваемости оборотных средств и еще за тысячи подобных вещей, словом за все очередные партийные лозунги, от которых трещат кости русских рабочих и крестьян.

Он отличается полнейшей беспощадностью не только к другим но и к самому себе. Он обладает способностью выполнить любое партийное задание, не считаясь ни с какими жертвами. Он отличается скотской бесчувственностью по отношению к человеческим страданиям. За выполненное поручение он может быть, часто с одинаковой степенью вероятности, либо поощрен каким-либо орденом, либо репрессирован за перегиб. Он всегда готов к тому и другому. Он самый передовой человек мира. Он носитель единственно прогрессивной культуры. Он — свободен.

Он даже единственный по настоящему свободный человек на земном шаре:

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек.

— это его песня. И он, конечно, гуманист.

В романах этот тип встречается на каждом шагу. Счастливое, гордое героическое племя новых людей, населяющих страницы советских романов, держит себя так, как будто оно никогда не слыхало о 58 ст. УК, о ежовщине, о концлагерях. Эти люди не живут, они выполняют требования социалистического реализма. В них русский народ пришел к предписанному партией самосознанию».

Короче — это активисты. Они служат партии в полном смысле самоотверженно, и эта служба превращает их жизнь в чистую каторгу. Они способны умереть на посту и умирают. Они подлинная опора советской власти. Но эти самые активисты сознательно или бессознательно готовы каждую минуту предать то самое дело Ленина-Сталина, беззаветное

служению которому они сделали своей специальностью. Во времена немецкой оккупации именно они толпами переходили на службу к новому хозяину.

Кротовья слепота Бердяева заставляет его видеть в этом естественном порождении большевистского режима второе издание писаревского мыслящего реалиста. На самом деле отдаленное сходство можно найти только в некоторых словесных побрякушках, которыми активисты иногда с опаской пользуются, боясь перевернуть цитату из вождей.

Во внешнем фактическом плане — новый героический тип русского человека, т. е. активист — это раб, свободный от всякой моральной ответственности, но почти раздавленный страшным грузом ответственности технической. В официальном фикционалистическом плане — это идеал свободного человека. В тайниках его души — это иногда бунтующий раб, смертельно боящийся собственного бунта.

Для огромного большинства русского народа «новый человек» презренное существо. Неискушенному советскому читателю страницы Бердяева, посвященные новому человеку, показались бы просто непонятными.

ОПРАВДАНИЕ ГЕНОЦИДА

Но самые чудовищные, самые непостижимые строки Бердяев написал, повторяя западную легенду о раскрепощении коммунистической революцией сил русского народа. «Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа («Р. И.», стр. 251). В «Истоках и смысле русского коммунизма», где истоки указаны неверно, а смысл приписан воображаемый, та же мысль выражена другими словами: «Большевистская революция путем страшных насилий освободила народные силы, призвала их к исторической активности» («Истоки», стр. 12).

Мимоходом: а если-б произошло всенародное покаяние, и на небесах не состоялось бы постановления о наказании русского народа за грехи революции? Что стало бы с бедными огромными силами русского народа? Страшных насилий, очевидно, не произошло бы и силы не были бы призваны к исторической активности... И с революцией и без революции все плохо; куда ни кинь, везде клин.

Бердяев, очевидно, не понимал, что он пишет. С ясным челом он повторил гнусную западную клевету на русский народ, который будто бы не умел и не хотел, а Сталин научил его работать. Как можно повторять такой дикий вздор? Не научить, а только разучить работать могут такие воспитательные приемы, как темпы, социалистическое соревнование, стахановщина, «исправительно-трудовые лагеря», коллективизация. Коллективизация — это ведь посягательство на самые глубокие, на вечные инстинкты человеческой души, это лишение миллионов и миллионов людей стимулов к труду.

Сталинская педагогика — это могила всякой инициативы; это не расковка, а заковка «огромных народных сил».

Формула Бердяева — это оправдание большевистского геноцида. Как мог Бердяев, гуманист и персоналист, дойти до этой формулы? Я могу объяснить это только влиянием тайного, т. е. бессознательного мотива: все позволено по отношению к русскому народу . . .

ХРИСТИАНСТВО, ПЕРСОНАЛИЗМ, РЕВОЛЮЦИЯ И ПОКЛОНЕНИЕ МОЛОХУ

Христианство персоналистично, и Бердяев стоит за персонализм. И тут он прав. Человеческая личность превыше всех сокровищ мира, всех царств земных. Она не может быть только средством, только орудием для достижения каких бы то ни было, хотя бы и самых возвышенных, целей. Ничто не должно быть поставлено выше личности, ничто не должно господствовать над нею, кроме велений ее собственной совести. Утверждая это, Бердяев совершенно прав.

Мысли Бердяева о христианстве и революции, бегло наметенные им в «Русской Идее», подробно развиты им в статье «Христианство и революция», в журнале «Новый Град», № 12, 1937 г. В этой статье возвещает он «величайшую, положительную» персоналистическую революцию, которая у него получается удивительно похожей на коммунистическую. Но коммунизм есть отрицание христианства, гуманизма и персонализма, и в этом отрицании нет ничего случайного и преходящего, нет ни малейшего недоразумения. А та персоналистическая революция, которая совершенно свободна от самоубийственного союза с коммунистическим

бесчеловечием, довольна близка к осуществлению в современном, беспощадно осуждаемом Бердяевым обществе. Главной помехой ее осуществлению являются те самые революции якобинского стиля, которые Бердяев приемлет за их «относительную правду».

Никакой правды в них нет, и цели их отнюдь не возвышенны, а вульгарно-бесчеловечны. Против них надлежит бороться всеми силами, до последнего вздоха, а кто этого не делает, тот предает гуннам коммунизма ту самую персоналистическую революцию, которую Бердяев возвеличивает на словах. Осуществиться же эта революция может только без помощи коммунистов, только в правовых формах, только бескровно.

Бердяев говорит, что мир переживает революционную эпоху, что грандиозная революция неизбежна и что христиане должны принять ее, отвергнув только наполняющий ее дух ненависти. Вся эта концепция Бердяева совершенно фантастична.

Для Запада наша эпоха совсем не революционна. Никакая революция не угрожает Соединенным Штатам, Англии, Германии, Скандинавским странам. А если бы угрожала, то против нее надлежало бы бороться, как против самого страшного врага и не позволять подкупать себя какой то, будто бы в ней содержащейся, относительной правдой. Решительная борьба против коммунистической революции вовсе не означает защиты становящихся все более призрачными привилегий господствующих классов.

Бердяев требует, чтобы христиане в предстоящей революции, которая может быть только коммунистической и которую Бердяев старается замаскировать под персоналистическую, стали на сторону трудящихся и угнетенных классов против классов привилегированных. Необходимость выбора между двумя враждебными станами существует только в воображении Бердяева. Далеко не все трудящиеся горой за революцию, и это хорошо знают коммунисты. И не представители привилегированных классов против каких бы то ни было реформ.

Конечно, много глупости и эгоизма среди «привилегированных» и еще больше среди угнетенных. Эту глупость отлично используют коммунисты, эта глупость их лучший союзник. С глупостью и нужно бороться. В революциях с их

«относительной правдой» отсутствует всякий смысл, их призрачные достижения тонут в потоках невинной крови, и тяжкое бремя возлагают они на плечи несчастного человека. И те, кто их приветствуют, показывают только с какой легкостью способны они перешагнуть через невинную кровь: им «чужая шейка — копейка». Своя — нет, но народ они несообразительный и подставляют собственную шею под топор, не ведая того.

Легкомысленное отношение к революционным перспективам, чем так грешит Бердяев, просто преступно. Социалистическая демагогия обошлась России дороже, чем татарское иго и крепостное право вместе взятые, намного дороже! Непостижимо, почему христиане должны идти в кабалу революции? Это совсем не персоналистично.

Бердяев эту кабалу отрицает. Он выражает убеждение, ни на чем не основанное, что ее можно избежать. Но что он предлагает? Сначала принять революцию, а потом протестовать против ее неизбежных последствий. Беда в том, что принятие революции — это реальная форма помощи дьяволу, и коммунисты это очень хорошо понимают и очень ценят попутчиков до поры до времени. А протест против последствий? Поздно и ни к чему. Завершится же протест унижительной физической гибелью попутчиков. Философия Бердяева опускается до уровня какого-нибудь Бенеша. Заслуженное возмездие за грех против свободы.

Нравственно недопустима эта капитуляция перед еще не осуществившейся коммунистической революцией, которая и возможна-то только благодаря капитуляции. Человечество должно воспитать в себе величайшее отвращение к революциям. **Только одна революция оправдана — революция против тоталитарного строя.**

Бердяевское поклонение революции никак не может быть связано с христианством. Поклонение революции — это религия не Христа, а Молоха. Ложные догматы этой революции: 1) ее неизбежность, 2) ее благие последствия. Исторический детерминизм сочетается с ложным нравственным пафосом. Если все неизбежно предопределено, то это все не имеет отношения к нравственности. Нравственность неотделима от свободы, предопределенная нравственность не есть нравственность.

Примирение с революцией — это служение Молоху. Револ-

люция в России совершилась не во имя свободы, а во имя коммунизма. Народ для коммунистов не субъект, а объект, быдло, индустриальное мясо революции. И странное впечатление производят христиане и персоналисты, восстанавливающие страшные религии прошлого, мирящиеся с массовыми человеческими жертвоприношениями и освещающими свое поклонение Молоху именем Христа.

БЕСПЛОДНОСТЬ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Охотникам мириться с какими угодно злодействами революции, ради ее predeterminedенных будто бы историей результатов, следовало бы внимательнее отнестись к вопросу об этих результатах. О русской революции давно пора сказать, что ей суждено остаться безрезультатной. Она ничего не сделала, чего бы без нее и несравненно лучше не осуществили поколения, не осчастливленные революцией. Ее гордость и ее оправдание в глазах ее защитников — индустриализация. Но индустриализация эта нерентабельна, может существовать только при условиях дотации, т. е. за счет варварского понижения жизненного уровня населения. И когда коммунизм будет наконец упразднен, то он не оставит никакого культурного наследства своим освобожденным рабам.

Все, что нужно для свободного развития России, было создано или заложено до революции. Французам после их революции действительно не к чему было возвращаться, и они должны были сочинить кодекс Наполеона. Но нам незачем сочинять, нам есть к чему возвращаться: к судебным уставам императора Александра II. Мы вернемся к дореволюционным основам жизни: свободному крестьянину, владеющему своей собственной землей; суду скорому, правому и милостивому; армии, построенной на гуманных основах, заложенных Д. А. Милютиным; местному самоуправлению, кооперации, свободной науке и, вероятно, к капитализму — в формах, соответствующих потребностям жизни. Речь идет, разумеется, о принципах, а не буквальном воспроизведении форм.

В ЧЕМ ПРАВ БЕРДЯЕВ?

Заблуждения Бердяева не должны заслонять его правды. А правые мысли Бердяева есть в то же время и важные, очень важные мысли.

«Весь 19-й век будет проникнут стремлением к свободе и социальной правде» («Р. И.», стр. 35). Это совершенно верно. Стремление к свободе очень свойственно русскому народу. Свободолюбие русских неразрывно связано с их гуманностью. Русский думает прежде о свободе для другого, а потом уже о свободе для себя. Русские действительно питают отвращение к смертной казни, незнакомое Западу, и тут ссылки Бердяева на Тургенева, Толстого, Достоевского вполне уместны.

Ничего нельзя возразить против слов Бердяева: «Но человечность остается все же одной из характерных русских черт... Лучшие русские люди в верхнем культурном слое и в народе не выносят смертной казни и жестоких наказаний и жалеют преступника. У них нет западного культа холодной справедливости. Человек для них выше принципа собственности и это определяет русскую социальную мораль. Жалость к падшим, к униженным и оскорбленным очень русская черта» («Р. И.», стр. 89).

Прав Бердяев и в следующих своих замечаниях:

«Русская мораль в отношении к полу и любви очень отличается от морали западной. Мы всегда были в этом отношении свободнее западных людей и мы думали, что вопрос о любви между мужчиной и женщиной есть вопрос личности и не касается общества. Если французу сказать о свободе любви, то он представляет себе прежде всего половые отношения. Русские же, менее чувственные по природе, представляют себе совсем иное, — ценность чувства, независимость от социального закона, свободу и правдивость. Серьезную и глубокую связь между мужчиной и женщиной, основанную на подлинной любви, интеллигентные русские считают подлинным браком, хотя бы он не был освящен церковным и государственным законом. И, наоборот, связь, освященную церковным законом, при отсутствии любви, при насилии родителей и денежных расчетов, считают безнравственной... Русские менее законники, чем западные люди, для них содержание важнее формы. Поэтому свобода

любви в глубоком и чистом смысле слова есть русский догмат, догмат русской интеллигенции, он входит в русскую идею, как входит отрицание смертной казни» («Р. И.», стр. 112-113).

Это верно. Равноправие женщины русская интеллигенция приняла в свое сердце и осуществила в быту с такой полнотой, как нигде в мире. И если бы Бердяев ограничился вышеприведенной характеристикой русского народа, с ним не о чем было бы спорить.

Из всего перечисленного Бердяевым отнюдь не вытекает, что «коммунизм детерминирован русской историей». От целомудрия русской женщины и русского понимания любви никак нельзя перекинуть мостика к обществу: «Долой стыд!», которое партия культивировала в годы военного коммунизма. И никакого мостика нельзя перекинуть от характеристики Бердяева к поляризованности, культу государства, анархии, империализму и обожанию тирании.

Черты универсализма в самом деле свойственны русской натуре и подчас бывают ярко выражены. Но мессианское сознание ему чуждо. И хотя русский народ отнюдь не свободен от слабостей и недостатков, которые он сам скрывать не любит, но от которых не слишком спешит освободиться, — он, тем не менее, ничуть не похож на страшилище.

О Г Л А В Л Е Н И Е

От издательства	5
Клевета друзей	9
Основные мысли «Русской идеи»	10
Поляризованность	10
Любовь и ненависть	11
Дионис и аскеза	13
Хороводы и оргии	14
Третий Рим и третий интернационал	14
Преодоление Филофея	16
Прерывность	17
Забывтая доктрина	18
Русский разгул	18
Дионис и равнина	19
Русская беспочвенность	19
Русский бунт	22
Бунт и разбой	23
Власть стихии	24
Небесный суд	25
Важнейшая особенность революции	26
Приятие или неприятие революции	27
Революция без котурн	28
Ленин	29
Титанизм	30
Русская воля	32
Об антибуржуазности русских	33
Отношение русских к власти	35
Умеренность русских умственных течений	36
Славянофилы о русской истории	37
Русский нигилизм	38
Сходство с Западом там, где Бердяев хочет видеть различие	39
Отношение к западным учениям	41
Отношение к собственности	43
Империализм	44
Национализм	50
Идеализация коммунизма	52
Коммунизм — новая вера русского народа	54
Фикционализм	58
Новый тип человека	61
Оправдание геноцида	63
Христианство, персонализм, революция и поклонение Молоху	64
Бесплодность русской революции	67
В чем прав Бердяев?	68

Издательство: Z O P E
München 2, Gaiglstr. 25
Deutschland — Germany

Издание Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

Мюнхен

1958